

The background is a dark blue-grey color. It is decorated with various red ink-like splatters and blotches of varying sizes and shapes, scattered across the surface. At the bottom center, there is a circular red seal containing stylized, illegible characters.

Геннадий Гор

ОБРЫВОК РЕКИ

Избранная проза
1925–1945

Блокадные стихотворения
1942–1944

Геннадий Гор А. Д. Муждаба Обрывок реки

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66746008

*Обрывок реки. Избранная проза: 1925–1945. Блокадные
стихотворения: 1942–1944: Издательство Ивана Лимбаха; СПб.; 2021
ISBN 978-5-89059-404-4*

Аннотация

Геннадий Гор (1907–1981) – известный ленинградский писатель-фантаст, автор научно-популярных очерков и повестей для юношества; самобытный прозаик, много писавший о малых народах России; один из ранних советских учеников ленинградского модернизма 1920-х гг.; автор сокрушительно-откровенных стихов, одного из самых страшных и захватывающих текстов блокадного Ленинграда.

За полвека в советской литературе Гор неоднократно был вынужден изменить траекторию писательского маршрута, по-разному запомнившись разным поколениям читателей, но в посмертии сумел буквально перевернуть свою литературную биографию.

В настоящее издание вошла ранняя проза Гора, избранные рассказы 1930-х, две повести – 1929 и 1945 гг., а также блокадный цикл. При всей своей разности эти тексты несомненно

свидетельствуют друг о друге, формируют общее пространство, в котором наивный формальный эксперимент 1920-х и абсолютный предел языка и субъективности в разрыве блокады преломляются во множестве отражений.

Содержание

Андрей Муждаба. Предисловие	8
Калым	30
I	30
II	34
III	35
Сапоги	37
I	37
II	40
III	42
IV	44
V	47
VI	50
VII	51
Корова	53
Глава первая	53
Глава вторая	68
Глава третья	79
Глава четвертая	90
Глава пятая	109
Глава шестая	121
Глава седьмая	129
Глава восьмая	141
Глава девятая	153

Глава десятая	166
Конец ознакомительного фрагмента.	172

Геннадий Гор
Обрывок реки.
Избранная проза:
1925–1945. Блокадные
стихотворения: 1942–1944

© Г. С. Гор (наследники), 2021

© А. Д. Муждаба, составление, статья, 2021

© Л. Н. Рахманов (наследники), статья, 2021

© Н. А. Теплов, дизайн обложки, 2021

© Издательство Ивана Лимбаха, 2021





Андрей Муждаба. Предисловие

Геннадий (Гдалий Самуилович) Гор родился 15 января 1907 года в Верхнеудинске. Согласно одному из вариантов автобиографии в анкете члена Союза писателей, которую ему неоднократно приходилось заполнять на протяжении жизни, – в остроге для политических заключенных. Революционная деятельность родителей определила тайну первых лет жизни Гора, и мы можем восстановить их лишь отчасти, опираясь на противоречивые свидетельства его прозы 1930-х годов. Детство и юность он провел на попечении родственников в Баргузине, а в начале 1920-х годов из Забайкалья приехал в Ленинград заканчивать школу и поступать в вуз.

Первой публикацией восемнадцатилетнего студента литературного отделения Ленинградского университета стал крохотный рассказ «Калым» – он вышел в журнале «Юный пролетарий» в 1925 году. Начинающий автор обратился к биографически близкому ему материалу – сюжет рассказа составили несколько наивные сценки Гражданской войны и утверждения большевистской власти в Бурятии. На первый план у Гора, однако, сразу же вышло стремление к выделке текста. Буряты коверкали слова, пытаясь усвоить словарь революции и примерить его к привычному сословному быту, автор же не столько помогал, сколько затруднял понимание между ними и читателем, используя странный и рваный, как

бы детский синтаксис, в котором короткие реплики персонажей смешивались с его собственной речью. В этом небольшом тексте Гором были угаданы и проявлены почти все составляющие его будущего литературного проекта – своего рода наивный натурализм; увлечение эффектами оговорок, совпадений и остраниний; фрагментарное, скорее даже ассоциативное мышление повествователя.

В 1983-м, спустя два года после смерти писателя, в Ленинграде вышел сборник его последних произведений «Пять углов»: эссе о художниках и литераторах, фантазийная повесть «Человек без привычек», автобиографическая повесть «Чилиры», а также блокадная история, давшая заглавие книге и несколько неожиданная для тех, кто привык к письму Гора 1960–1970-х годов. В ней распадающееся, иногда почти бесвязное повествование перемежалось рассуждениями о литературе и искусстве, воспоминаниями о довоенном Ленинграде.

В повести «Пять углов» Гор с нескрываемым сожалением характеризует своего альтер эго – героя-повествователя: «просто опытный литератор». Литератор Геннадий Гор писал больше пятидесяти лет, опубликовав почти три сотни произведений разных жанров, два с лишним десятка книг, переведенных на несколько языков. Поначалу он – «перспективный», но «увлекающийся» молодой писатель под патронажем литературной группы «Смена»; в 1930-е – стилистически «своеобразный» и потому завоевавший локальную по-

пулярность специалист по Дальнему Востоку «реконструктивного периода», автор циклов рассказов о малых народах и добровольный ленинградский куратор художников-северян, занимавшихся в мастерских при Институте народов Севера. К началу 1940-х – сочинитель очерков колхозной жизни и, когда потребуется, рассказа о женах летчиков советско-финской войны. Еще через десять лет, на протяжении которых его имя чаще всего появлялось на тонких детгизовских книжках о художниках и научно-популярных брошюрах, в 1950-х – автор повестей об ученых, хоть и несколько чудаковатых, непохожих на те, что писал Даниил Гранин. К середине 1960-х – писатель-фантаст, любимый читателями, но пишущий, кажется, всегда об одном и том же, все меньше внимания уделявший научной фантастике и все больше – элегическим воспоминаниям о прежнем литературном Ленинграде. Доброжелательный рецензент выставок, автор небольшой книжки о ненецком художнике Константи́не Панкове, опытный пожилой литератор, со своим, всем в Ленинграде хорошо известным набором чудачеств и увлечений, сотрудник редакции «Невы», опекающий в ЛИТО при Союзе писателей литературный молодежник. Библиофил, коллекционер, один из хранителей и проводников в мир довоенной ленинградской культуры для тех, кто готов был слушать¹.

¹ О литературном наставничестве Гора см.: Ласкин С. Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов. М.: Новое литературное обозрение,

Если присмотреться к литературной биографии Гора внимательнее, то без труда находятся «швы», соединяющие этапы этого, быть может, не самого крутого, но прерывистого литературного маршрута. Сюжеты, затронувшие все его поколение: антиформалистская кампания начала 1930-х, под которую Гор в аккурат попадает с первой книгой рассказов, ждановская кампания 1946 года, зацепившая его из-за не самой осторожной повести в «Звезде», – как раз после этого только и остается десять лет писать для детей о каменном угле или художнике Перове (к слову, в соавторстве с Вс. Н. Петровым, автором еще одного удивительного «потаенного» текста о войне, повести «Турдейская Манон Леско»), да еще сочинять сценарии для научно-популярных фильмов. Если собрать журнальную критику, сопровождавшую «ломку» Гора, и довериться немногим личным воспоминаниям той самой опекаемой молодежи, то получится уже не «просто опытный», а когда-то симпатичный и оригинальный, но теперь забитый и запуганный писатель «второго ряда», образцовый персонаж для нехитрой, в общем, модели советской литературы, однозначно разделенной на «официальную» и «неофициальную».

Две важные посмертные публикации по большому счету мало поменяли этот образ. Впервые опубликованный в 2000 году ранний роман «Корова», даже в сопровождении удиви-

тельных рассказов второй половины 1930-х годов, получил от Андрея Битова вердикт: «сказание о победе формы над содержанием». Блокадные стихи 1942–1944 годов, казалось бы, сокрушительные для сложившихся представлений об авторе, после того как не с первой попытки были прочитаны и распознаны (во многом благодаря рецензии Олега Юрьева на венское двуязычное издание 2007 года²), в большой степени зажили своей отдельной и несколько даже равнодушной по отношению к «советскому писателю Геннадию Гору» жизнью.

Настоящее издание призвано в год сорокалетия со смерти Гора объединить под одной обложкой произведения, которые прежде не пересекались в книгоиздательской перспективе и, в силу различных обстоятельств, оказались противопоставленными, чуть ли не противоречащими друг другу. Состав книги охватывает период с 1925 по 1945 год, меньшую и, кажется, несмотря на два переиздания в ХХI веке³, менее известную половину работы Гора в советской литературе и на ее полях.

Дело не в том, что из второй половины нечего выбрать в интересах сборника избранных произведений. Позднего Го-

² Юрьев О. Заполненное зияние-2. (Рец. на кн.: Гор Геннадий. Блокада: Стихи / Пер. с русского с параллельным текстом. Вена, 2007) / Новое литературное обозрение. 2008. № 1.

³ Ранняя проза Гора входила в издания: Гор Г. Корова. Роман. Рассказы. М.: Независимая газета, 2001; Гор Г., Рахманов Л., Слонимский М. Факультет чудиков. СПб.: Звезда, 2004.

ра многие и сегодня помнят и любят не только как персонажа истории литературного Ленинграда, но и как автора странной, «неправильной» научной фантастики, в которой даже машина времени переносит героя – куда же еще? – в Ленинград 1920-х годов. И все же мы ограничиваем состав книги текстами до 1945 года в первую очередь потому, что стремимся не столько представить «избранное», сколько прочертить непрерывную линию, объединяющую довоенное творчество Гора в ясную последовательность.

Почему и по каким признакам тексты, составившие эту книгу, до сих пор были разделены? Проще всего сказать о самых ранних: они в основном подражательны и неоднократно вынесены самим автором в разряд заблуждений юности. В студенческие годы, почти до конца 1920-х годов, Гор, судя по всему, всецело очарован, во-первых, студенческой культурой и интеллектуальной жизнью Ямфака⁴; во-вторых, кипучей деятельностью литорганизаций и романтикой первых публикаций – однокурсники затевают студенческий литературный кружок, по отчетам в университетской газете больше похожий на ролевую игру; в-третьих, прозой, в той или иной степени ориентированной на формальный эксперимент: Олешей, Кавериним, Шкловским, Вагиновым, Добычиним. Литературное ученичество самого Гора, однако, затягивается до начала 1930-х, пока не становится ясно, что обстановка требует иных подходов. Не только стратегию и

⁴ Факультет языкознания и материальной культуры ЛГУ. *Ред.*

ставку начинающего писателя, но и круг его очных и заочных учителей выдают не столько проза, сколько сражения с редакциями. В ответ на беззастенчивые нападки в университетской многотиражке в 1929 году он пишет:

Нельзя требовать от эксперимента, чтобы он был понятен массовому читателю, так как эксперимент знаменует собой новый непривычный метод. Это тоже достаточно элементарно. Приведу банальный пример. Многие не понимали Маяковского, считая стихи его заумными. В настоящее время Маяковского печатают и «Правда» и «Известия». Изменилась не поэтика Маяковского, а читательское восприятие. Стихи Маяковского перестали быть экспериментом. К ним привыкли. Без эксперимента литература не может двигаться вперед⁵.

Сходным образом Гор ведет себя в литгруппе «Смена», затем, через два-три года, – в столкновениях с Валентином Стеничем и влиятельным критиком Георгием Мунблитом. На языке эпохи Гор – перспективный молодой автор, «свой» в социальном и идеологическом отношении, но на беду увлеченный формализмом, не нашедший материала и темы. Он и правда пишет что-то хулиганское то о Баргузине, то о студенческом общежитии, то о жизни белых офицеров в эмиграции, то о быте «новых мещан». Спустя десятилетия в автобиографической прозе 1960–1970-х Гор раз за разом дает

⁵ Студенческая правда. 1929. № 16. С. 4.

подробный отчет о том, что и как он писал в первые годы – и как будто каждый раз огорчается «силлогическим выкрутасам» чрезмерно формализованной прозы 1920-х годов.

Как бы то ни было, десяток ранних публикаций сам собой выделяется в «ученический период». С годами тон критиков, ситуация в литературе, социальный статус Гора меняются: он заводит семью, ему предстоит служить в армии и определиться с дальнейшими планами – реализовать в литературе более серьезную ставку.

Роман (скорее все же повесть) о колхозном строительстве «Корова» Гор исключил из корпуса своих произведений сам. Судя по всему, по изначальному замыслу это и была та самая серьезная ставка начинающего автора, его первая самостоятельная крупная форма. Первые главы повести даже содержат своего рода манифест обретения языка, который герой должен приспособить к новой социальной действительности. «Корова» была написана буквально в последние месяцы 1920-х, Гор пытался опубликовать ее, но не смог – некоторая непоследовательность и чрезмерность эксперимента легко заметна и сейчас, а в 1930 году такая проза попадала не просто под подозрение, но и под прямую атаку. Сохранив рукопись, в «оттепельную» пору Гор часто вспоминал о ней и, кажется, был склонен скорее шутливо мифологизировать ранний текст, нежели вернуть его, пусть даже неформально, в обращение. Рукопись была опубликована в 2000

году родным для Гора журналом «Звезда» в сопровождении статьи Андрея Битова, который и зафиксировал эту мифологию «Коровы»: по Битову, в ней язык обэриутов поглощает передовицу советской газеты времен начала коллективизации. Так повесть была выделена из полузабытого корпуса «советского писателя второго ряда» на правах лучшего, не особенно советского, утаенного, возвращенного и после всех этих операций обреченного вызывать читательское недоумение текста.

«Корова», ее принцип и даже сам текст, неявно переносится Гором в работы следующего десятилетия. Фрагменты романа он даже пытался публиковать как отдельные произведения. В концептуальном сборнике новелл «Живопись» (1933) есть рассказ «Колхозные ребята», который представляет собой не что иное, как переработанные первые главы «Коровы». В сборник вошли разнообразные истории, из которых для настоящего издания мы выбрали два текста: рассказы «Стакан» – трагическую историю художника Широкосмыслова в качестве иллюстрации того, до какого предела был готов довести Гор свои «силлогические выкрутасы» и чем был готов дразнить критику в 1933 году, – и «Вмешательство живописи»: судьбу этой новеллы, венчающей сборник попыткой проговорить отношения стилистического остроумия и социалистического строительства, стоит отметить особо. В небогатой библиографии исследований Гора этот рассказ фигурирует как «дискуссионный». Крити-

ки 1930-х годов без труда опознавали, на чьей стороне симпатии автора: хотя сюжет неумолимо ведет к ниспровержению асоциальной фронды «хармсовского» героя, Петра Ивановича Каплина, автор-повествователь слишком уж напоминает собственного персонажа. Заодно Гор успел продемонстрировать такую степень осведомленности в литературной и бытовой практике обэриутов, что уже в другую эпоху, в 1990 году, А. А. Александров приводил текст в их «реконструированном» сборнике «Ванна Архимеда» как пример литературного доноса, вульгарных нападок на Хармса. Наконец, особого внимания заслуживают стихи Каплина, приведенные в рассказе. Дело не только в том, что в них «доносчик» стремится точно воспроизвести поэтику Хармса (некоторые стихотворения которого известны именно в списках Гора), но и в том, что в них ясно просматривается конструктивный принцип его собственных стихотворений блокадного цикла, техника ассоциативного дрейфа, которую Гор не мог использовать в своей прозе от первого лица.

«Живопись» вышла на восьмой год публикаторской активности молодого писателя и стала последней попыткой литературного дебюта, выполненного в заданном ключе. Сборник был разгромлен достаточно решительно, чтобы над карьерой писателя нависла серьезная опасность. И тогда Гор совершил естественный для того времени маневр: установку на излишне провокативный формальный эксперимент он переработал в принцип «стилистического своеобразия», раз-

вернутый на материале жизни малых народов СССР. Стартовые позиции были обеспечены биографическими обстоятельствами: в 1934 году Гор начинает «перезагрузку» с автобиографической повести «В городке Студеном» – из дореволюционной жизни евреев Прибайкалья (впрочем, литературная автобиография зафиксирована Гором в нескольких вариантах и не позволяет вполне уверенно установить факты). Одновременно он работает в командировках на Дальнем Востоке и со студентами, приезжающими учиться в Институт народов Севера. Вскоре с большой интенсивностью разворачивает в ленинградских литературных журналах циклы историй о быте и советизации ненцев, гиляков, орочонов и их соседей. Экзотический материал плюс безопасная фабула – именно эта формула принесла ему первый успех. За шесть лет, до 1940 года, выходят пять книг (включая томик «избранного» «Большие пихтовые леса», до сих пор остающийся лучшим сборником ранней прозы Гора), несколько повестей и больше трех десятков рассказов. Чем дальше, тем более благосклонна к нему критика, – и, говоря с читательских позиций, тем более странной становится эта проза.

Ненецким беднякам и сибирским кулакам в прозе Гора оказывается «можно» то, чего нельзя было художнику Широкосмыслову, бездельнику Каплину, председателю колхоза партизану Молодцеву и самому автору-повествователю несколько лет назад. Удивительные чудачки, они разговаривают каскадами параллелизмов, видят мир как пространство

превращений и остраниений, не понимают и игнорируют социальные нормы – разве что хорошо чувствуют непоколебимость классовых барьеров даже в тайге. Ломаный язык персонажей хорошо соответствует синтаксическому минимализму, который до этого разрабатывал Гор, парадоксальность их суждений и поступков – его стремлению к алогичным конструкциям. К концу 1930-х годов Гор, после разгрома «Живописи» анонсировавший в печати «овладение реалистическим методом», пишет почти так же «нереалистично», как десять лет назад. Но назвать это письмо подражанием старшим ленинградским модернистам уже нельзя, и критика признает наконец стилистическое мастерство Гора.

В рассеянных по журналам и сборникам публикациях Гор последовательно разрабатывает обнаруженную им автономию, постепенно радикализуя свой метод, все чаще подменяя социальный заказ сценами абсурдного насилия или веселого бреда. Однако литературная работа Гора в довоенные годы отнюдь не сводится к таким рассказам, как «Спящие реки», «Пила» или «Богач Тютюка» – некоторые более «правильные» тексты мы обходим стороной. В то же время какие-то рассказы сам Гор оценивает как непубликуемые – так, «Маню» он только через тридцать лет, в 1968 году, включил в юбилейное «избранное», на всякий случай указав, что рассказ якобы входил в упомянутый сборник «Живопись» (хотя был написан через несколько лет после выхода сборника). Дело было, очевидно, в том, что рассказ этот, как и сосед-

ствующий с ним «Чайник», лишен «этнографического» алиби: действие возвращается в привычное для модернистского эксперимента городское пространство.

Вполне последовательная литературная стратегия Гора до поры успешно сочеталась с искусной публикаторской тактикой. К началу 1940-х годов становится, однако, очевидно, что продолжать эксплуатировать такой подход больше невозможно. В 1941-м среди анонимных эпиграмм в «Литературном современнике» можно обнаружить посвященную Гору:

Он, обглодав свою тайгу,
Промолвил: «Больше не могу».
И – вышел из тайги на свет.
Ему за храбрость – мой привет!

Гор пробует писать о среднерусских колхозах (уже совсем не так, как в «Корове»), о жизни Ленинграда, ученых – весь жанрово-тематический диапазон, так хорошо подошедший 1950–1970 годам, так или иначе был опробован им до войны. Однако вскоре обстоятельства решительно и безвозвратно изменяют траекторию, которую писатель нащупал для себя в новом десятилетии.

В июне 1941 года Гор вместе со многими литераторами записывается добровольцем в 1-ю дивизию Народного ополчения, но к осени писатель вновь в городе, вокруг которого замыкается кольцо блокады. В начале 1942 года в «Звезде» успевает выйти его фронтовой очерк. Выбравшись из бло-

кадного Ленинграда в начале апреля, Гор сначала попадает в офицерскую школу, но из-за крайнего истощения не может продолжать службу и вскоре следом за своей семьей отправляется в эвакуацию под Молотов, в деревню Черная. Там, пока в конце 1944 года не появляется возможность вернуться в Ленинград, он работает в местных журналах и даже организует литературный альманах.

О стихах, написанных Геннадием Гором после эвакуации из блокадного Ленинграда (большей частью – летом 1942 года), сказано уже достаточно много. Верно то, что в них – опыт радикального, предельного высказывания в чрезвычайных условиях, беспощадная документация не только и не столько обстоятельств, сколько искаженного и распадающегося восприятия, самой субъективности «блокадного человека». Верно то, что в них – тщательная и, безусловно, искусная работа с поэтическим языком, который всерьез станет достоянием сначала «неофициальной», а затем и свободной от этого разделения литературы спустя десятилетия после написания цикла и тайным носителем которого Гор оставался на протяжении полувека литературной работы. Верно, наконец, и то, что это стихи советского писателя Геннадия Гора, и после того, как они звучали и обсуждались сами по себе и в контексте сходных явлений, на них есть смысл взглянуть в непосредственном окружении его прозы.

Авторский порядок для этих 96 стихотворений нам недоступен, поэтому мы в основном повторяем предложенный

изданием 2012 года⁶. В сущности, стихи Гора сложно рассматривать как линейную последовательность – они организованы скорее с помощью внутренних параллельных рядов, переплетены в единую сеть персонажей, сюжетов, картин, символов, повторов и автоцитат.

На поверку в них обнаруживается довольно мало блокадных реалий, и, хотя у нас нет сомнений в их происхождении, их основном эмоциональном источнике, мы не даем им «тематического» заглавия («Блокада»), предложенного в 2007 году публикатором австрийского издания Петером Урбаном и отстаиваемого в статьях о цикле Олегом Юрьевым.

Напротив, в стихах Гора вновь и вновь воспроизводятся картины, составлявшие его довоенную прозу: мифологическое Прибайкалье, Север, Дальний Восток. Но теперь в «большие пихтовые леса» приходят не знаменосцы советской власти, проводники культуры и прогресса – на вневременное пространство природы и детства обрушивается катастрофа, которая не может быть названа и описана, которая искажает до неузнаваемости само устройство мира и языка. Блокада в этих стихах разворачивается не как система бытовых или исторических обстоятельств, даже не как онтологическая катастрофа; в каком-то смысле она доходит до

⁶ Гор Г. «Красная капля в снегу...». Стихотворения 1942–1944 годов. М.: Гилея, 2012. Следуя этому изданию, мы сохраняем грамматику автографов, полагая ненормативную пунктуацию и другие нарушения синтаксиса признаками аффективности текстов, частью их поэтики. В цикл добавлено стихотворение, обнаруженное в архиве Гора в отрыве от других рукописей.

последнего рубежа – вызывает крушение мифопоэтического ядра, вокруг которого был бережно выстроен литературный проект Геннадия Гора.

В повести «Дом на Моховой», первом большом произведении, опубликованном писателем после возвращения в Ленинград, есть малоприметный эпизод – школьная учительница в эвакуации рассматривает детские рисунки в тетрадях: «Были изображены деревья, и на каждой даже маленькой ветке сидело по птице, и птицы, видимо, пели, весь лес, нарисованный на клочке бумаги, детский, неровный лес, забегающий за лист, весь лес был наполнен птичьим ликованием, и солнце тоже, как заяц, прыгало, бежало вприпрыжку по небу...»

В наивной сценке можно было бы увидеть эмблему горовского натурфилософского эскапизма, но вот в одном из самых апокалиптических текстов его стихотворного цикла она неожиданно получает прямую параллель, в которой «хлебниковские» превращения оборачиваются кошмарным бредом:

Солнце простое скачет украдкой
И дети рисуют обман.
И в детской душе есть загадка,
Хариуса плеск и роман
Воробья с лешачихой. Как желуди
Детские пальцы. Рисунок опасный —
Обрывок реки. Крик. И люди

Не поймут, не заметят напрасно
Привет с того света, где у реки
В рукаве не хватает руки,
Где заячьи руки скачут отдельно
От зайца, где берег – не сказка,
А бред на птичьих ногах...

Для образной системы Гора, с самого начала построенной вокруг идей смешения, переплетения, непрерывности, превращения всего во всё («преодоление времени и пространства» – такова была его излюбленная тема в послевоенные десятилетия), этот обрывок реки, срывающейся в бездну за краем детского рисунка, – возможно, самый решительный знак непоправимой катастрофы, постигшей миропорядок.

Внимательный читатель без труда обнаружит множество других «параллельных мест» в стихах и прозе Гора, окружающей их в этой книге. Этот механизм не специфичен для блокадных стихотворений: кажется, на такого рода арках держится вообще все написанное Гором. Будучи неизвестными читателям при жизни автора (и, кроме нескольких достаточно осторожных и неполных публикаций, еще четверть века после его смерти), на самом деле его стихи были неглубоко скрыты под гладкой поверхностью его поздней прозы о дружелюбных роботах-поэтах, статей о Панкове, воспоминаний о довоенном литературном Ленинграде. Возможно, самым ярким (и в то же время затруднительным с точки зрения прочтения и объяснения) контекстом стихов Гора остается

уже упомянутая повесть «Пять углов», в которой он единственный раз сколько-то полно говорит о блокадном опыте, вновь тайком пересказывая свои потаенные стихи. В финале повести умирающий герой беседует со своим гостем о радиоэфирах Ольги Берггольц (когда-то соратницы юного Гора по молодежным литорганизациям 1920-х годов) – и кажется, что таким образом семидесятилетний Гор намекает на совсем другую блокадную поэзию.

Настоящий сборник завершает повесть «Дом на Моховой», первая серьезная публикация Гора после эвакуации. Возвращение, в силу обстоятельств, от автора не зависевших, повлекло очередную катастрофу. Впервые несколько глав из повести (существенная ее часть) были опубликованы в третьем номере «Звезды» за 1945 год, а уже через несколько месяцев она вышла отдельной книжкой крошечного формата. Гор принялся публиковать рассказы и очерки, частично продолжающие его прежние темы, частично основанные на материале эвакуации и военного времени – не получив, впрочем, особенного сочувствия старых знакомых из ленинградской критики, немедленно обнаруживших неуместность формального «своеобразия» в применении к военной и блокадной тематике. А весной – летом 1946 года развернулась кампания против журналов «Звезда» и «Ленинград». Гор не упоминался в постановлении оргбюро ЦК ВКП (б) и опубликованном тексте выступлений Жданова, но его фамилия

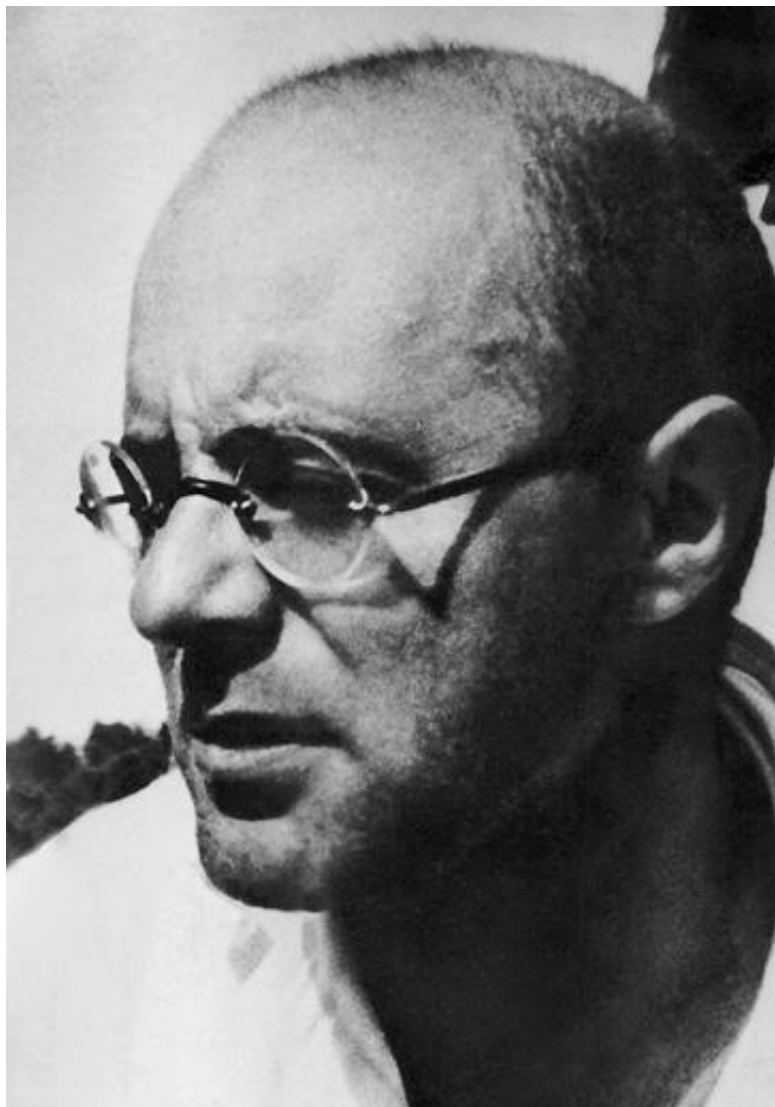
звучала на закрытых докладах, после чего в дело вновь вступила критика – мишенью стал главным образом «Дом на Моховой». Читатель без труда опознает в тексте места, которые могли быть – и были – использованы в походе против «низкопоклонства перед Западом» (пожалуй, самое яркое из них – описание «Герники», о которой думает герой повести, попав под бомбардировку).

Повествование в «Доме на Моховой» призвано объединить картины, свидетелем которых Гор бывал с июня 1941 года, – но от третьего лица и с позиций более «рациональных», нежели те, что определили язык поэтического цикла. Очевидно, что Гор вложил в текст повести много сил, выстраивая уместный в год победы сюжет и осторожно встраивая в него фрагменты потаенных картин войны, блокады и эвакуации. В то же время, при всей разнородности его публикаций в предшествующие десять лет, именно «Дом на Моховой» в наибольшей степени можно считать рубежным текстом, закрывающим многолетнюю историю попыток отстоять способ письма, который писатель стремился предложить советской литературе.

Это не значит, что в последующие тридцать лет Гор в полной мере потерял способность и стремление продолжать свой литературный проект. Однако удар, нанесенный кампанией 1946 года по карьере писателя, оказался слишком сильным. На этот раз неудача ставила под угрозу единственный известный Гору способ существования, его профессию – а

значит, сохраняя в столе рукописи «Коровы», рассказы конца 1930-х и стихи 1942–1944 годов, он должен был снова учиться писать. Несколько лет он мог позволить себе публиковать только проходные рецензии и литературную поденщину.

К авторской прозе Гор вернулся в другом десятилетии, в других условиях – и ему пришлось тщательно выстраивать новые способы взаимодействия с изменившейся литературной повесткой. И хотя в какой-то момент на этом пути ему помогут популярные жанры – в частности, детская научная фантастика, – почти в каждом рассказе, повести или романе он, отдав должное сюжету и схематичным персонажам, исподволь будет возвращаться к картинам, составившим словарь его довоенной прозы и блокадных стихотворений, разорванных пространством и временем.



Калым



I

Четвертой женой у Гармы была Сысык. – Последней. На пятую быков пожалел (за жену – два быка). Муж кричал – Гарма:

– Ба-ба-а, вали постель, полежим... шибко охота! – Опротивел Сысык.

– Мало-мал работа есть! – отвечает.

– А к-корова иди-и! – Сыворочч!

Семьдесят быков и коров. Овец не пересчитать. Арцу сделать из молока. Пахнет падалью арца. Пахнет арцой жизнь. Так до Октября.

Октябрь показался в улус – как в дождь солнце – неожиданно.

Залаяли собаки, завыли.

Дверь юрты чуть-чуть с петель не соскочила.

– Здоровоте!

На пороге русский в шинели, с винтовкой.

– Менду... мендумор!⁷ – юрта приветливо встретила. И вместо того (как все русские делали) чтобы спросить о цене скота, рядиться, матом крыть, угощать водкой, отрезал:

– Собрание улуса. Здесь у тебя. Да поживей!

Удивился Гарма. Удивилась Сысык. И три другие жены удивление свое показали.

– Это пошто?

– Можь... можо будит мало-мал, мужиков собирать?

– И баб! – Шинель добавила и широкое лицо улыбнулось.

– И баб? Это пошто?

– И баб.

– Можо будит!

Собирались во дворе Гармы. Мужики верхом на лошадях.

⁷ Бурятское приветствие. *Ред.*

Бабы на скрипучих арбах. Двор встретил приветливой прелею помета.

Русский говорил непонятно:

– Революция! Буржуазия! Партия. Коммунизм.

Буряты понимающими притворялись.

Солидно головами качали. Шептались совсем громко.

– Революций?

– Шибко здорово! Табар дадут наберно.

– Сердитый начальниг ни будит. Свой!

– Гобори... Гобори...

– Свечки бурхан дадут.

– А пылохо сердится бог – бурхан.

Сысык с трудом ловила непонятные слова. А поняла только: калым⁸ (большой мошенничество) не будет. Баба бить грех... тоже челобек. И радовалась. Русский, кончив, вытер пот с лица рукавом. И увидел обрадованные щелочки глаз. Сам обрадовался. Подошел. И, вынув из кармана шинели измятый, вырезанный из газеты портретик, сказал:

– Ленин это. Большой человек. Возьми. За бедных он. И за баб...

Взяла Сысык.

И в углу грязной юрты, над божницей, над уродиками – бурханами, стал висеть совсем маленький, из газеты вырезанный портретик. Не ругался на это муж:

⁸ Институт выкупа невесты семьей жениха, распространенный у бурят. *Ред.*

– Бурхан рюска. Ну и пусть бурхан бист.

II

Шелестели по-старому травы в степи. Шелестели по-новому дни. Юрта Гармы на дороге. То и дело из города буряты заезжали. За чаем – новостями ругались.

– Дорого бсе! Большой война в городе.

– Капут скоро. Ой, капут товарищам.

– Большой начини едет. – Белый.

– Капут товарищам. Ай капут.

– А-а-а!

Смотрела Сысык. Слова, как комаров, ловила. Бедняки старых прятали.

– Ай не любит белый бедных.

Дерется за то, что землю у русских взяли, – шибко ружьем дерется!

А пришли белые в степь, как кобылка.

III

Много в юрте Гармы вшей. А белогвардейцев еще больше. И откуда столько? Зачем? Громко вонючие рты затянули:

Э-эх, шарабан мой американка-а,
Да я девче-енка-а-а, да хулиган...

– Вина, ну. Вина! Вина живей!..

– В-вина-а.

И перекачивалась бурятская самогонка – араки из поганных котлов в поганные рты. Угощал сам хозяин Гарма. Улыбкой корежило скуластую хозяйскую рожу.

– Шибко пейте. Шибко большая друга. Шибко бино хорош. Шибко мал-мало рад.

Тряслись от смеха золотые погоны.

С интересом рыжий юрту осматривал. Не видал, что ли? У божницы остановился.

– Дикари-и. А ведь тоже бога в обиду не дадут. Вон понавелили сколько.

Но почему рыжий ус зашевелился?

– Мать... Мать вашу!

– Сволочь. Бо-ольшевики-и!

– Ленин откуда? Хозяин!

На полу Гарма.

– Не бызнал. Бурхан думал. Баба побесил. – Трусливо шелестели слова.

– Не бинобат я. Баба всё. Баба-а... большевик.

– К-о-т-о-р-а-я?

На дворе подымались и опускались шомпола, а двором молчала степь. И, как степь, молчала Сысык. Говорили одни глаза: о звериной ненависти.

В женотделе бурятка заведующая: тов. Сысык. У нее широкие и, как масло, желтые скулы. И узенькие щелочки-глаза, гальками блестят. Смеются. А вот взглянут в клубный уголок Ильича на маленький, из газеты вырезанный портретик. Затормозят смех глаза. Вспыхнут прошлым.

1925

Сапоги

I

На двери, на гвоздике: «Голубенький и Шаньгин». Комната 99. Они постучались. – Мы, мы. – Вошли – один за другим и сели.

Комната выглядела унылой. Обои насупились. На полу была грязь. На столе – крошки. Словом – Мытня.

В сандалиях Голубенький ходил по комнате.

– Здравствуйте, – не остановил он. – Вы в курсе дела?

Голубенький выпрямился. Высокий, он, словно профессор на экзамене, сделал серьезное лицо. – Слово имеет товарищ Шаньгин!

– Что ж, – встал с кровати Шаньгин, – я так я.

Широкий, в помятых брюках, небритый. Он начал по существу.

– Вопрос, – сказал он, – в сапогах. Понятно? Вот две недели, как мы – я и Голубенький – не ходим на лекции. Понятно?

– Понятно.

– Пробовали вместо подошвы бумагу. Понятно?

– Понятно. Валяй дальше.

– В кооператив за хлебом: а холода! Понятно?

– Понятно.

– Выдала мне касса шесть целковых, столько же, понятно, Голубенькому.

– Ну за семь – сапог не купишь!

Насупились. Вторая неделя, как задерживали стипендию.

– Я не знаю, что вы нам посоветуете? – замолчал Шаньгин. Он сел. Все встали.

– Паша, – подошел утешать Иванов. – Паша. – Он остановился. Вынул красный платок сморкаться.

– Дела, – проговорили все вяло. – А если эти починить? Голубенький сморщился.

– Нельзя, – отвечал Шаньгин. – Пришли в негодность. А у Голубенького ничего, кроме сандалий.

Потоптались.

– Голубенький, пока. – Уходили.

Закрыв дверь, Шаньгин зажег электричество. Он рассеянно не выпускал выключателя: стоял и думал.

В комнате стало душно. Лампочка бросала узкий свет на стол. Углы темнели.

Над кроватью Голубенького таинственно склонились: Джек Лондон в ковбойской шляпе и этажерка. Не поднимаясь, Голубенький протянул руку, достал О. Генри.

– Митя, – подошел Шаньгин. И он увидел О. Генри вверх ногами в руках Голубенького, – неожиданная развязка – говоря по-твоему...

– Развязка. Купим сапоги, – негромко повторил Шаньгин.

Зажглись фонари. Долетели звонки трамваев.

Чурынь-н-н-н-н-н-н-н-н-н-га. Чу-рынь-н-н-н-н-н-н-н-н-н-га. Согнув колени, Голубенький лежал лицом в стене. Книга над закрытыми глазами висела в руке.

– Одну пару на двоих, – говорил Шаньгин. Волосы ползли ему на глаза. Он встряхнул головой. – Будешь ходить на лекции по вечерам. Я на утренние, или как тебе удобнее.

В окна шел вечер.

– Завтра?

– Завтра.

II

Утром они пошли покупать сапоги. Шаньгин, в чужих валенках, в порывшейся кожаной куртке, еле поспевал за длинными ногами Голубенького, в чужих штиблетах.

– Да! – вспомнил Шаньгин. – Получил повестку.

– Что же это за повестка? – спросил Голубенький.

– Понятно, из домпросвета, – засмеялся Шаньгин, – из библиотеки. Зажилил книги.

Проскочил автомобиль. Прошли «Ведьму». Над дверью мерцала непотушенная лампочка. «Папиросница от Моссельпрома», – прочли на афише.

– Библиотекарша из домпросвета, – засмеялся Шаньгин – Папиросница от Моссельпрома. Библиотекарша из домпросвета – тут же припомнилось. – Серая шапочка. Волосы светло-русые. Стоптанные каблучки... По лестницам и шкафам.

– Пьера Бенуа. Нет, – роется в книгах.

– Хотите «Борьбу и сердце» Молчанова.

– Стихи? – Шаньгин не любит стихов – Сердце... Тащите сюда сердце. – Смеется...

– Варя? – морщил лоб Шаньгин, – или Вера?

Варя. – Показалась вывеска «Скорохода»: нарисованы туфельки. Такие же точь-в-точь. Вспомнил. – Нет, Вера. А фамилия... как же ее фамилия?

– Шаньгин. Куда ж ты, – открыл Голубенький дверь «Ско-

рохода».

Магазин блестел. Пахло кожей.

– Вам, – подскочил приказчик, – что угодно?

Сели на скамейку. Голубенький примерил «джимми» на грязный, рваный носок.

– Пожалуй, – размышлял над русскими сапогами Шаньгин, – взять эти.

Остановились на русских сапогах.

– Заверните, – попросил Шаньгин и обернулся к Голубенькому, – мне, понятно, они велики. Но тебе они в самый раз.

– Не возражаю...

Вышли. На улице потеплело. Брен – ногам.

– Вера. Верочка, – мечтал Шаньгин о библиотекарше.

– Знаешь, – оборвал его мечтания Голубенький, – надо повидать сестру.

Выстреляли: полдень.

– Откуда – сестра? – вздрогнул Шаньгин.

– Я разве тебе не говорил? – нахмурился Голубенький. – Была в детдоме. Теперь служит здесь, в Ленинграде.

– Так. Сестра, – когда же ты меня с ней познакомишь?

Кланялись знакомые. Останавливались. Вытяжки? – интересовались те. – Нет. – Развертывали и показывали. – Солдатские.

– А подошвы – не сносить.

III

Только что видел ее...

Шаньгин прошел мост. Поскрипывали сапоги. Махал руками и улыбался: выругала за книгу.

Рылся в памяти, – не задерживайте, если не хотите, чтобы оштрафовала!.. Серое платье. Глаза синие из-под густых ресниц: строгие и лукавые. Веснушки... Одевает перед зеркалом шляпку. Высокая, деловым голосом говорит: – До следующего раза. – До следующего. – Ключи передает библиотекарю. Куда-то спешит. – Куда.

Солнце не грело.

Гудели автомобили.

– Алименты да алименты, – обогнали матросы, – пристала – не отвертисься.

Дуло от реки. Стыли губы.

На углу встретился газетчик:

– Красный вечерний газета!.. – вытянул он, как петух шею. – Убийство жены мужа за алименты.

Над крышами висел дым.

Шаньгин прошел двор. Вбежал по заплеванной лестнице. И, открыв дверь, открыл рот: серое платье. Она. На кровати Голубенького. Его рука вокруг ее шеи. Вот куда спешила – сюда!

– Вера.

– Вера.

Он, закрыв дверь, скатился по лестнице. Остановился во дворе, – может, заметили. Не видел ни улиц, ни людей. Шел. В университете долго сидел на скамейке.

Гудел коридор.

– ...Сдал семь.

– ...Рубль... А четвертак мало?

– ...Чем красите волосы?

– ...Интересный! – Очень. Капля воды Рудольф Валентино...

– ...Борода?... Загнал бритву...

– ...На что? – на немецкий. Необходим язык. Вот и борода.

Висели плакаты. – Все в смычку. Литгруппа «Ледоход», – читает Стихийный.

– Голубенький, откуда он ее знает, – думал Шаньгин.

Если б не Голубенький!

– Вера. Верочка, – она, наверное, бы его полюбила...

Домой он вернулся как пьяный. Лег в постель.

– Сволочь, – подскочил к нему Голубенький. – Из-за тебя я пропускаю лекции. Спрашиваю, где таскал сапоги не в свое время?

С постели Шаньгин вскочил строгий. Началась ссора.

IV

Ссора переходила во вражду.

Утром – еще спит, укрывшись с головой, Голубенький – Шаньгин вставал, нагибался за сапогами.

– Бабник, – осматривал он подошву. – Все каблуки посбивал за бабами!

Надев сапоги, Шаньгин уходил. В комнате оставался кавардак: одежда Голубенького по стульям, крошки на столе.

Возвращался Шаньгин аккуратно в два часа дня. Дыша ртом, он сбрасывал сапоги. В носках – садился за химию.

Сапоги надевал Голубенький. Он замечал: подошва становилась тоньше, тоньше.

– Шаркун, – сдвигались брови Голубенького, – тебе только шаркать по коридору!

Спина, склоненная над химией, не оборачивалась. Нет, черт возьми, нельзя разговаривать после того...

Приближалась стипендия.

Голубенький ходил мрачный. Не было денег. Получил письмо от сестры: серьезно больна!

В домпросвет, решил Шаньгин, ни ногой!

Выдержать было трудно – сходил.

Веры не было. Взяла отпуск по болезни.

«Верочка, – не выходило из головы. – Вера».

Голубенький – дважды в день разводил в стакане с водой

грязные и сухие корки.

«Сухой бы я, – вспомнилась песня и почему-то детство, – корочкой питалась».

Вылавливая длинными пальцами в стакане «тюрю», мечтал: о свином сале, о колбасе, о яблочном пироге.

Свиное сало, колбасу, яблочный пирог получил Шаньгин из дому.

– Завтра, – заходил, разнюхав о посылке, Иванов, – выдают стипендию.

– Ничего, конечно, – не верили Иванову, – завтра не выдают.

– Не выдают? – таинственно наклонялся Иванов. – А вот выдают. Мне передавала одна студентка. Она знает сестру жены Кобылина. А Кобылин председатель стипкома. – Он заглядывал в окно. Между рамами висел мешок из каких шьют матрасы.

Нарезая свиное сало или колбасу (это когда Голубенький дома), Шаньгин нарочито стучал ножом о сталь...

Ел нарочито медленно, задыхался, чавкал...

В таких случаях Голубенький отвертывался от стола. Он подолгу смотрел в теорию литературы – не различая букв. Получит стипендию, обязательно купит себе сала и колбасы...

...Шаньгин начинал сопеть громче. По чавканью нельзя было всё определить, что жевал он уже не сало – яблочный пирог.

Как-то Голубенький не выдержал чавкающей спины.

– Сволочь! Сапоги! – крикнул он не то, о чем думал. – Ты нарочно их так носишь, что ли?

Шаньгин молчал.

Шел вечер. Перемигивались окна. По стене ползли тени. Соседняя комната плясала лезгинку. Голубенький хлопнул дверью.

Пришел он ночью, забрал вещи и не вернулся.

V

Шаньгин проснулся. В комнате было неуютно. Кровать Голубенького выглядела скелетом. На стене не было этажерки и Джека Лондона. Книги валялись на полу. Из рамки – не смотрел Зиновьев.

Шаньгин не вставал.

– А, Голубенький в 98-й, – не постучался Иванов. – Здоров. К тебе кого вселят?

В носках Шаньгин болтал ногами и смотрел в химию. Иванов ушел.

Шаньгин оделся и написал записку:

«Голубенький. Мне надо спешить на лекцию, так что дайте мне сейчас сапоги. Что касается моих книг, они ничего и без этажерки. А вместо портрета тов. Зиновьева купил тов. Дзержинского. Благо осталась рамка. Джек Лондон не совсем ваш. Вы позабыли: мы его покупали на пару. Платил деньги я. Остаюсь без Джека Лондона и без сапог. П. Шаньгин».

Записку он просунул под дверь комнаты 98. Через полчаса дверь комнаты 99 открылась. Влетел Джек Лондон с сапогами.

Дверь закрылась.

Шаньгин заторопился.

В университете зашел в регистратуру.

Оказалась повестка:

«Библиотека Василеостровского домпросвета просит вас немедленно вернуть задержанные вами книги: М. Горький и М. Чумандрин.

Зав. библиотекой: Голуб...» Далее неразборчивая закорючка.

– Это, наверное, она.

Всю дорогу думал о Вере, – не любит его. Все кончено. Любит Голубенького.

Открывая дверь домпросвета, он сделал мрачное лицо.

Вера, веселая, в фуфайке, с гладко причесанными волосами, встретила:

– Опять задерживаете, товарищ Шаньгин, – достала штрафную книгу, – раскошеливайтесь. – И, не открыв книгу, положила ее обратно в стол.

– На днях выписалась из больницы. Видите, – похудела.

Не выбирая, Шаньгин взял книгу. Пошел...

– Пойдите, – остановила Вера. – Куда же вы? На одну минутку...

...Пойдите!

И, спрятав радость:

– Пожалуйста, – сказал он. – В чем дело?

– Пойдите. Передайте, – протянула записку. – Вот это Голубенькому.

– Голубенькому?

Радость потухла.

...А может, я его не знаю. Понятно, я его не знаю, – помолчав, закончил он фразу.

– Как не стыдно, не хотите передать записку от сестры брату.

– Брату? – обалдел он окончательно. – От сестры? Голубенькому?

В читальне потушили свет. Зажгли. Потушили. Зажгли.

Медленно, так разгорается печка, в Шаньгине разгорелась радость.

VI

– Идиот, – бежал домой Шаньгин. – Нужно было не сообщать: сестра. И эта ссора. Немедленно мирюсь... Идиот... Еще в повестке: Голуб... понятно – Голуб... енькая. Вера – сестра!

Шаньгин с чувством что-то насвистывал.

Сомнений не оставалось: Вера полюбит его.

Вера.

VII

Голубенький открыл. В нижней рубашке, с засученными рукавами, мокроволосый – только что мылся, – он стоял у дверей. Вопросительно смотрел.

– Понимаешь, ну постой, – поймал его за руку Шаньгин, – ну, давай мириться. Я кругом виноват.

Прошли в комнату. Голубенький взял со стола гребенку – причесываться.

– От сестры, – передал записку Шаньгин.

Стоя, придерживаясь одной рукой за кровать, другой он начал снимать сапоги.

Над столом висел Зиновьев. Этажерка свесилась над кроватью – без книг.

– Митя, – сказал Шаньгин, – я извиняюсь: мы опять будем жить вместе?

За стеной переругивались. В коридоре хлопали двери.

– Ты откуда ее знаешь, – прочитал записку Голубенький, – Веру? Сестра пишет: болела гриппом и заразила подругу...

В дверь кто-то стучался. Открыв, Голубенький вернулся – «Ленинградская Правда».

Он развернул газету. Революционная армия Китая наступает по всему фронту.

– Молодцы китайцы! Тебе не говорила библиотечка, – сказал он, – я говорю про Веру Голубцову, давно она видела

подругу, то есть мою сестру?

Шаньгин опустился на стул. Комната закачалась.

На полу валялись сапоги.

Декабрь 1926

Корова

Глава первая

Беременная баба пасет беременную корову. Они медленно передвигаются, объединенные одним хозяйством и одинаковым положением. Их вспученные животы сочетаются над зеленою луга, и они чувствуют себя как трава, частью луга. Они растворяются в зеленой траве, и им кажется, что они зеленеют, как трава. Но вот женщина вспоминает, что у нее есть муж, мужу нужно сварить обед, а корову нельзя оставлять одну. И она грустит. Ее грусть передается корове. Но трава на лугу остается веселой, вода в речке веселой, деревья на берегу веселыми. Теперь ни корова, ни женщина не чувствуют себя частью луга, как вода частью реки. Корова жует траву с тем видом, с каким ее хозяйка пила бы чай в гостях у кулака. Она не жует, а только делает вид, что жует, и ей кажется, что она жует. С грустным видом они ходят по веселой траве, под веселым небом. Вот идет веселое стадо колхозных коров, подгоняемое веселыми ребятами. Они гонят коров щелканьем бичей и языков, ударами голосов, всем своим смехом. И насмешливые коровы колхоза смотрят на корову женщины, на ее тусклый живот и худые бока с улыбкой всего стада. Их приветливые хвосты, огромные глаза и доб-

родушные рога выражают насмешливую жалость. И корова женщины, конфузясь и бледнея, склонив голову и повернув хвост, стоит с неподвижным ртом. Но вот ребяташки колхоза, все вместе, точно сговорившись, подходят к беременной женщине и приглашают ее корову «немного попасться» в их стаде. Они делают это весело, чуть-чуть лукаво и немножко жеманясь, точно приглашают не корову, а девушку танцевать. Но вот они уже говорят серьезным тоном:

– Вечером мы пригоним ее к вам домой и не возьмем никакой платы. Так, если вы только захотите, мы будем делать каждый день. Ведь вы бедняки. А мы пионеры.

И она с радостью соглашается.

– Дома у меня столько работы. – Она доверяет им.

– Я доверяю вам. Смотрите берегите. Она у меня одна.

И вот корова веселеет, она машет хвостом, мычит и, набив полный рот травы, весело пасется с веселыми коровами на таком веселом лугу. А женщина, веселея, уходит домой. Она оборачивается с рукой от солнца и, улыбаясь, смотрит на свою корову, на ее рога, на ее живот, на ее ноги и на ее хвост.

– Ей хорошо с ними, – говорит она и уходит. И корова сливается со стадом, как вода с водой, теперь она часть стада, часть травы и часть этого луга. Поворотом головы она знакомится с новыми подругами, и концом своего хвоста она знакомится с громадным быком, с сердитым быком, главою и гордостью своего стада – племенным быком. Но бык за-

мечает ее живот и презрительно удаляется. Коровы пасутся, погруженные в траву и жвачку. Окруженные солнцем и тучей слепней, они передвигаются, махая хвостом, и жуют, жуют. Но вот на краю поля появляется другое стадо, стадо кулацких коров, как толпа кулаков, появляется на горизонте как неприятель. Пастухи моментально вскакивают и хватаются за рожки и за палки. Столкновение возможно. И звуки рожков, с той и другой стороны, раздаются как призыв к наступлению или защите. Сражение начинается само собой. Первый камень летит с одной стороны на другую. И вот туча камней летит с той и другой стороны.

Вернее, две тучи. Настоящая война. И, конечно, гражданская, потому что дерутся ребяташки двух классов: дети колхозников и дети кулаков.

– Бей белых, – кричит тонкий голосок с этой стороны. Но называться белым неприятно даже сыну кулака. И с той стороны кто-то отвечает:

– Мы не белые.

– А кто же вы? – смеется эта сторона.

И с той стороны доносится нерешительный ответ:

– Мы... дайте подумать.

И с этой стороны насмешки и камни летят в ту сторону. Камни насмешливо летят и попадают в противника, как в цель. Но вот какой-то парнишка в зеленой рубашке, зеленый сынишка кулака, поднимает зеленую руку и машет белым платком. Перемирие! Перемирие! И военные действия

прекращаются.

Пастухи кулацкого стада собираются в кучку. Они советуются – кто же мы?

– Мы – белые, – предлагает сын кулака Петухова. Но сын кулака Луки набрасывается на него:

– Вы дураки. Вот кто вы. Назваться белыми – это значит заранее признать себя побежденными. Белые были побиты.

– Кто же мы? Кто же мы? – советуются остальные.

– Мы – американцы, – предлагает один.

– Это же гражданская война, – поясняют ему остальные.

Тогда паренек в зеленой рубашке берет слово и предлагает:

– Мы – зеленые, – предлагает он и показывает на свою рубашку.

– Зеленые, зеленые, – подхватывают все.

– Зеленые – это те, что дрались против красных, – поясняет сын Луки, – но они же и против белых.

И вот сражение возобновляется. Воюют красные и зеленые. Соблюдаются все военные правила, наступление и отступление, атака и контратака, с этой стороны работает Чека, с той – контрразведка. Но вот кому-то приходит в голову, что они забыли про окопы, и, побросав камни и палки, они начинают рыть окопы, они роют все вместе, красные и зеленые, и, чтобы быстрее кончить, помогают, одна сторона другой, красные зеленым, зеленые красным. Чтобы война походила на войну. Окопы вырыты, и война походит на войну.

Они дерутся, как настоящие солдаты всеобщей войны. Потому что они враги.

— Эй вы, кулацкие свиньи.

— А вы колхозные сапоги.

— А у нас есть трактор, — кричит мальчуган лет семи, высунув язык и показывая кукиш. — А у кулаков нету.

— Зато у нас кони, — кричат с той стороны.

Ребята с палками набрасываются, одна сторона на другую, и дерутся до тех пор, пока настоящая кровь, красная кровь красных и зеленых, не побежала из настоящих ран.

— Красное и зеленое, — шутит кто-то, показывая на траву, залитую кровью. Но никто не обращает внимания на кровь и шутки. Все ожесточенно дерутся. Скрежет зубов сочетается с ударами палок. И собаки той и другой стороны, до сих пор молча наблюдавшие битву, бросаются в бой, как резерв. Даже коровы злобно смотрят, коровы этой на коров той и коровы той на коров этой стороны. И два огромных быка — этой и той стороны — бросаются друг на друга. Их лбы сталкиваются, как удар грома, и позади них два ожесточенных хвоста, два состязающихся хвоста, два поднятых хвоста, как два поднятых флага, болтаются из стороны в сторону. Но ребята той и этой стороны не обращают внимания на быков, они видят только себя, своих врагов, свои кулаки, свои раны. Но вот они спохватились, снова и та и эта сторона. У них нет военачальников. А без командного состава не бывает войн, даже гражданских. Они прерывают бои и выбирают началь-

ников. Красные организованно – поднятием рук: Чашкина и Конькова. Но зеленые не знают, как нужно выбирать; каждый выбирает самого себя.

– Если все будут командирами, то кто же будет солдатами, – посмеиваются над ними красные.

И зеленые бросаются друг на друга, дерутся, но и кулаки не в состоянии им помочь. Пока один парнишка с красной стороны не показал им на зеленую рубашку и не предложил:

– У него зеленая рубашка. Он самый зеленый, выберите его. – Они выбирают. И бой возобновляется. Но не надолго. Потому что вмешивается победа. Победа на стороне красных. Пока зеленые спорили, красные не зевали. Они создали план. Собрали камни. Перевязали раны. И, окружив зеленых, победили.

– Учитесь у нас побеждать, – шутят красные. Но зеленые не обижаются и даже не завидуют. Красные должны были победить. Ведь в настоящей войне победили красные. Они посмеиваются над чужими синяками, хвастаются своими ранами.

– Наши раны больше, чем ваши раны.

– Зато у нас больше синяков, то есть контуженых.

Они мирятся, одна сторона с другой стороной, и уже готовы приступить к какой-нибудь игре, как вдруг замечают, что дерутся их быки. И какое совпадение: бык красных – красного цвета, а бык зеленых – зеленого, правда, зеленых быков не бывает, но им хочется, чтобы он был зеленым, и они ви-

дят его зеленым.

И красный бык побеждает зеленого быка. Вот сильным ударом он заставил его отступить, вот он обратил его в бегство. Зеленый бык удирает, как Деникин, махая трусливым хвостиком. Вот уменьшается в росте, вот он уже не бык, а бычок, и вот он уже теленок.

И красные и зеленые смотрят, как убегает бык. Красные с нескрываемым торжеством и насмешкой, зеленые смотрят бычьими глазами.

– Да у вас не бык, а теленок.

– Вот мы вам покажем, вам и вашему быку, – говорят зеленые и уходят, о чем-то советуясь. Они могли бы простить многое, но что их бык – гордость кулацкого хозяйства – слабее и побежден быком колхозников, это они им не простят. Хозяйство выше всего! Они маленькие хозяева, будущие хозяева, маленькие кулаки. Их бык требует мести. Они шепчутся, как их отцы. И выбирают дорогу борьбы, уже выбранную их отцами. Они поручают выполнить задание парнишке в зеленой рубашке.

– Тебе легче пробраться в траве незамеченным, кроме того, ты начальник.

– Но я не кулак, – отказывается парнишка.

– Все равно. Ты подкулачник.

– Но я боюсь.

– Ты не бойся.

– Вот я сейчас сбегая за ножом, – говорит сын Петухова

и бежит за острым ножом. Он приносит нож и отдает его парнишке в зеленой рубашке.

– Действуй, – говорит он слово, которое слышал от отца.

– А если нельзя будет подойти к быку, тогда как? – спрашивает тот.

– Тогда какую-нибудь корову. Только в крайнем случае. Помни: нам важен бык.

– И помни: ты подкулачник, – напутствуют его. Он крадет-ся, зеленый, в зеленой траве, держа нож так, чтобы не порезаться, но все же решительный, готовый на всё. «Я как они, – думает он, – как кулаки. Вот стадо колхоза и бык, но он в середине стада, возле него Чашкин, Коньков, остальные. Или они догадались, или кто-то предупредил их. К быку не подойти, не подползти, не подкрасться... Вернуться, не сделав ничего, – думает он, – нет, уж лучше совсем не вернуться». Одна корова отделяется от стада. Она вот. Возле него. Достаточно протянуть руку, достаточно протянуть нож, и он протягивает руку, и он протягивает нож. И делает свое дело, порученное ему дело. Струя крови залепляет ему лицо и руки, но он в восторге – это кровь, первая кровь. Он не стирает кровь ни с лица, ни с рук, ни с ножа, это лучшее доказательство, которое он принесет им. Теперь можно идти, и он ползет к своим. Ползучее доказательство. Он с гордостью смотрит на свою правую руку, но вместо руки видит нож. Его руки похожат на нож, руки – ножи, ноги – ножи, он сам – нож. «Я нож», – думает он.

Он ножичек. Но всякое оружие в руках своего класса – оружие. Даже маленькое оружие.

Наступает пора гнать коров домой – в колхоз. Криками и бичами ребята собирают стадо. Им помогают собаки. Вот все стадо в сборе. Но одна корова лежит в стороне. Лежит и не встает. Чашкин подходит и узнает: это корова той женщины, той самой женщины, корова Катерины. Почему же она лежит? Он кричит на нее, но она лежит, не встает, он бьет ее бичом, но она не встает, он трогает ее рукой, но она лежит, не встает... Но постойте, постойте, это. Кажется, кровь? Все сбегаются и смотрят на корову, на ее ногу с перерезанным сухожилием, на озеро крови в траве, кто со страхом, кто с болью, точно это его кровь, но большинство с гневом:

- Это их дело. Дело маленьких кулаков.
- Конечно. Кто же другой, кроме них.
- Как же они осмелились? Как же мы прозевали?
- Это они отомстили нам за зеленого быка.

И кому отомстили, отомстили Катерине, у которой не было ничего, кроме этой коровы, а теперь нет ничего. Но как сказать Катерине, что она подумает и что скажет? Она скажет: не уследили – и, быть может, подумает на нас.

И один, угадав мысли всех, потому что это была и его мысль, отвечает всем, успокаивает всех:

– Нет, Катерина не подумает на нас. Она нам поверит. Она хорошая женщина. Беднячка.

Они загоняют стадо во двор и печальной толпой невесе-

лых ребятишек идут к Катерине. Они идут очень медленно, часто останавливаются, и тогда некоторые предлагают: быть может, лучше сегодня не ходить. Нет! Нет! – отвечают остальные, и они идут.

Тут читатель догадывается, о чем думает автор, автор догадывается, о чем думают Чашкин и Коньков.

– А хорошо бы, хорошо бы, – мечтают Чашкин и Коньков, – хорошо бы залучить нам ее в колхоз. Первую замужнюю женщину. Они думают каждый в отдельности и оба вместе, и они сообщают один другому, о чем они думают. И вдруг оба машут рукой и сердито смотрят один на другого.

– Это не может быть, – говорят они.

– Это невозможно, – говорю я читателю, и читатель мне.

Это невозможно.

Вот они подходят к избе, похожей на избушку, вот они подходят к избушке, к старым воротам, похожим на калитку, нет, не к воротам, а к дыре, вот они заходят на воображаемый двор, потому что двора нет, а вместо двора открытая площадка, очень удобная для игры; но в избу никто не хочет идти первым. И тогда они протискиваются всей толпой, молчаливой и невеселой, толпой, непохожей на толпу. Они видят в избе стол, длинный стол, ничего, кроме стола, и на столе каравай хлеба. И Катерина, увидев их, поняла всё: что-то случилось с коровой. Чашкин рассказывает, что именно. Тогда вся толпа ребятишек говорит громким шепотом:

– Это кулацкие дети. Мы им покажем.

Но что с Катериной, она улыбается, все были уверены, что она будет плакать, улыбается и подходит к ним. Вот она кладет свою длинную коричневую руку на плечо одному, и всем кажется, что она положила свою руку, эту руку на плечо всем. Каждый чувствует ее на своем плече. Она их спрашивает:

– А вы примете меня к себе в колхоз?

Она говорит это своим голосом, их голосом, точно просит их принять ее к ним в игру.

– Примем.

Только Чашкин молчит. Он вспоминает, что он старше всех, некоторое время молчит и вдруг отвечает чужим, взрослым голосом, голосом товарища Молодцева:

– Мы-то приняли бы. Но будем принимать не мы. Но и они примут.

– Пусть только попробуют не принять, – говорит один мальчуган строгим голосом.

– Мы примем постановление от себя, от пионеров, чтобы принять.

– Да примут, какие могут быть разговоры. Примут.

– Вот и хорошо, – улыбается Катерина и смеется.

И, веселые, они возвращаются, и, довольные, они идут домой. Это ведь они сагитировали, ну конечно, они сагитировали первую замужнюю женщину.

Это они, ну конечно, они прорвали бабий фронт. Ну конечно, они.

– Она будет варить нам обед, всем обед, – мечтают они.
Всем обед.

Они идут веселой дорогой, мимо насмешливых кустов, веселых изб, под хохочущим небом. Но вот Коньков вспоминает:

– Мы обещали отомстить.

Отомстить! Отомстить! Но как отомстить? Но чем отомстить? Нужно придумать.

– Незаметно напасть и избить, – предлагает кто-то.

Но все отвергают эту мысль. Они не хотят подражать им, бороться их методом:

– Мы не кулаки!

И все начинают думать, нахмутив брови и козырьки, под размышляющим небом, мимо задумчивых заборов по несообразительной траве. Соревнование на выдумки под соревнующимся небом. Но никто ничего не может придумать. Чашкин и Коньков предлагают отложить до завтра. Их таинственный вид выдает их. Они что-то придумали. И завтра они скажут – что.

О, огород, слева направо, от горизонта до горизонта. Но я читаю огород справа налево, и получается: дорого. Я вижу тебя одним глазом, правым глазом, правого уклониста и вижу затраченный труд. Ничего больше. Но вот я смотрю на тебя обоими глазами – этим и этим. Теперь я вижу результаты. Труд позади, всё позади. И передо мною результаты. Огород надо читать не с правой стороны, чтобы увидеть до-

рого, а с левой, чтобы видеть огород. О, город овощей, зеленый огород зелени и солнца. О, огород мужчин, ты вспахан мужчинами, засеян мужчинами, полит мужчинами. Ты видишь над собой солнце, и вот ты уподобляешься ему своими подсолнечниками, круглыми, как солнце, желтыми, как солнце. И вот ты уже не огород, а зеленое небо без облаков, и вместо одного солнца у тебя сотни. Ты светишь всеми своими подсолнечниками и смеешься зеленым смехом, всей зеленью, всем своим смехом, похожим на салат. И вот ты показываешь свой зеленый язык кулаку. Ты опасный враг, и он боится тебя, потому что не знает, что сказать против этой капусты, против этой репы, против этой моркови и против этого картофеля. Они сами говорят за себя. И он уходит, кулак уходит на своих кулацких ногах, стараясь не замечать, стараясь не видеть тебя своими кулацкими глазами. Но он видит тебя, когда не глядит, он видит тебя, когда он далеко, он видит тебя днем открытыми глазами и ночью закрытыми. О, кулак, я вижу тебя. Ты вот. Вот ты спишь. И тебе снится огород колхоза. Ты видишь во сне, что ты просыпаешься в огороде. Вот ты слышишь, как растет горох и цветут помидоры. Но ты еще не знаешь, кто ты. Ты думаешь, что ты салат или огурцы. Ты любишь огурцы. Но вот показывается солнце. И ты видишь себя, ты не огурцы и не салат. Ты чучело. Ты не веришь своим глазам, ощупываешь себя, осматриваешь себя, и ты убеждаешься, что ты чучело.

– Я чучело, – говоришь ты.

Ты чучело.

Ты просыпаешься, но уже не во сне, а в действительности. Ты встаешь, ты одеваешься и идешь в колхоз посмотреть на огород. И вот ты видишь уже не во сне, ты видишь себя. Тебя то несут на руках, то волочат по земле колхозные ребята, то смеяшь, то подпрыгивая. Вот они приносят тебя в огород, вот они тебя ставят на землю, и вот они поднимают тебя на высокую жердь при помощи веревок и рук. И вот ты – чучело. Ты паришь над огородом, как аэроплан или как нетопырь с растопыренными руками. Твоя обязанность пугать птиц, не давать им клевать овощи. Вот ребята отходят от тебя в сторонку и любуются на изделие своих рук, смеются над тобой. «Но, может быть, это не я», – думаешь ты. Ты смотришь на себя и, не доверяя своим глазам и рукам, пробуешь на язык. Нет, это ты. Вот твои руки, вот твой живот, вот твои ноги. И тебе становится одиноко.

«Поставили чучело, – думаешь ты, – живого человека. Озорники. Хоть поставили бы меня в моем огороде. Но поставить меня здесь, в колхозе, заставить меня охранять чужой огород, ваш огород. Извините, это я не могу». И вот ты кричишь им и грозишь кулаком.

– Снимите, – кричишь ты, – озорники. Не то я подам в суд. Но тебе возражают – нельзя.

И ты говоришь:

– Нет такого закона, чтобы живых людей употреблять вместо чучела.

И тебе возражают:

– Он не живой. Это не человек. Это, как бы сказать, только модель, чучело человека.

И ты возмущаешься:

– Это я не живой? Я покажу вам, какой я не живой! Я живой!

И тебе отвечают:

– Вы живой, мы в этом не сомневаемся. Но этот человек не живой. Это чучело, изображение, и не одного человека, например вас, а целого класса.

– Класса. Изображение, – рассуждаешь ты, – теперь понимаю. Так это не я.

И ты спрашиваешь:

– Так это верно, что это не я? Вы не врете?

– Нет, это не вы. – Ты уходишь, заложив руки за спину. Свои руки, думаешь ты, за свою спину. Но тебя догоняет крик:

– Это ты! Это ты! – И ты останавливаешься. Ты стоишь, как чучело. Два чучела: одно в огороде, другое на дороге, два кулака, два тебя. И ты размышляешь.

– Где же я и где он? Это я или это он?

И с тех пор ты живешь двойной жизнью, своей и огородной. Ты охраняешь чужой огород. Так тебе отомстили ребята.

Глава вторая

Катерина Оседлова – имя этой «бабы», той самой беременной женщины, жены батрака. И слово Катерины переходит в дело, по крайней мере, то слово, которое она дала пионерам.

Она берет своих кур, одну в одну руку, другую курицу в другую, все свое имущество, и говорит мужу, говорит батраку:

– Я иду в колхоз.

– А как же я? – спрашивает муж.

– И ты иди в колхоз.

– Но если я не могу? Ты знаешь, я работаю у Петухова.

Что скажет Петухов?

– Хочешь, иди, – говорит Катерина, – а хочешь, не ходи.

Я пойду.

– Как же ты пойдешь? Ты мне жена.

– Жена, – отвечает Катерина, – а пойду я вот так. – И показывает, как она пойдет, другими словами, идет. Она доходит до дверей, выходит во двор, но муж догоняет ее. Он кричит:

– Постой! Постой! погоди. Зря идешь. Теперь в колхоз не берут. Поздно.

– Меня возьмут, – отвечает Катерина. И идет дальше.

– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Обожди. Вперед нужно написать заявление. Разве ты не знаешь, что без заяв-

ления не берут? Обожди.

– Нечего ждать, – отвечает ему Катерина. – Мне там напишут. Люди грамотные.

И она идет дальше.

– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Куда торопишься? Обожди до завтра. Завтра пойдешь. Завтра и день лучше. Сегодня понедельник. Плохая примета. Старики говорят. Они знают, не ходи.

– Мы с тобой не старики, – отвечает Катерина. – Пускай старики сидят. А я пойду.

И идет.

– Постой! Постой! – догоняет ее муж. – Обожди. Мне надо тебя спросить... Всего одно слово...

– Спрашивай, – говорит Катерина.

– Я тебя бил? – спрашивает муж.

– Нет, не бил.

– За волосы таскал?

– Нет, не таскал.

– Пьяным приходил?

– Нет, не приходил.

– Почему же ты от меня уходишь? – спрашивает муж.

– Я от тебя не уйду, – отвечает Катерина.

– Как же ты не уходишь, когда ты уходишь в колхоз?

– И ты тоже иди.

– Я не могу, – говорит муж, – мне Петухов коня обещал, только чтоб в колхоз не ходил. «Будешь хозяином», – сказал

он. Буду хозяином. Ни разу не был хозяином. А ты хозяйкой.

— Ну и живи хозяином у себя, — говорит Катерина. — У тебя будет один конь. А у нас триста. У тебя будет одна корова, а у нас пятьсот. Прощай. Я пойду.

И идет дальше.

— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — Обожди. Ты говоришь триста, так они не твои, они общие. А то — мой.

— Мои или не мои, — отвечает Катерина, — а работать на них буду и я. И не на кулака, а на себя и на общество. Ну, я пойду, а то опоздаю. Увидимся. Я иду.

И она идет дальше.

— Постой! Постой! — догоняет ее муж. — погоди. Ты и вправду идешь?

— Вправду, — отвечает Катерина.

— А как же ты идешь? — спрашивает он.

— Вот так, — говорит Катерина и показывает, как она идет, то есть идет.

— Да так и я могу, — говорит муж и тоже идет. — Постой! Постой! — догоняет он ее. — погоди.

— Нечего мне ждать, — говорит Катерина. — Я уже пришла. Видишь, контора.

— Так, значит, и я пришел, — догоняет ее муж.

— И ты пришел, — отвечает Катерина. И открывает дверь конторы.

— Постой! Постой! — останавливает ее муж. — Разве и мне с тобой записаться?

– Запишись.

– А меня примут?

– Примут.

– Так черт с ним, с кулаком, – говорит муж, – с его работой и с его кобылой. Записывай и меня.

Они входят в контору колхоза, ожидая увидеть контору. Но вместо конторы в конторе они видят не контору, а просто комнату, веселую комнату товарища Молодцева и молодежи. Но эта комната была не только веселой, но и деловой, комнатой нового дела, конторой коллективизации, доказательством того, что дело – бумага и перья, исходящие и входящие – может быть не скучным и сухим, как пыль, но веселым, как эта улыбка вот этого председателя, добродушным, как круглые щеки румяной девушки, делающей подсчет с тем видом, с каким собирают ягоды. И вся обстановка этой конторы говорит новым языком, похожим на язык контор не больше, чем объяснение пионера на ответ бюрократа. Никакого бюрократизма, так же как никакой пыли. Ни пыли, ни бюрократизма. Потому что признаком всякого бюрократизма бывает пыль, казенный воздух, сухие стены, пыльные лица, сухие перья и ответы, похожие на приказания, вопросы, похожие на ответы, и слова, слова, похожие на закрытую дверь. Ни закрытых дверей, все двери открыты, как лица, ни столов, на которых можно только писать. Все столы похожи на столы, на них можно не только писать, но и читать, пить чай, играть в шахматы, разумеется, в свободное время, и иногда мечтать

о необыкновенной пшенице, о свекле, больше всех свекл, о свиньях, непохожих на свиней, а иногда и о любви.

На этих стульях удобно сидеть, на этом полу удобно стоять, с этими людьми приятно разговаривать. И к довершению всего, посередине комнаты обыкновенная кровать, с серым одеялом и измятой подушкой, кровать, объясняющая всё, враг всякой официальности, кровать товарища Молодцева, подтверждающая, что эта контора не только контора, но и комната, просто комната. Войдя в контору, войдя в эту комнату, Катерина и ее муж почувствовали себя частью этой комнаты, они как бы растворились в ней, и сидящие за столами встретили их, как будто давно их ждали, как будто они пришли к себе домой. И они садятся пить чай, который в то время приносят, они пьют чай вместе с Молодцевым и молодежью, в то время как куры Катерины ходят под столом и клюют крошки.

– А я вас уже ждал, – обращается к ним товарищ Молодцев, – ко мне приходила целая делегация от ваших пионеров. Они рассказали мне о вашей короле и что вы придете. Я им на это ответил, посмотрим. Возможно, что вы и не придете. Всяко бывает. Они рассердились. «Не ожидали, – говорят они мне, – мы от вас такого бюрократизма. Что за недоверие». И когда уходили, хлопнули дверью. Вот как обиделись. Были уверены, что вы придете. Я посмеиваюсь, нарочно выражаю свои сомнения. Ну хорошо, хорошо! Сейчас я позову Чашкина и Конькова, они покажут вам наши достижения и

недостатки и, кстати, порадуются вам. Заявление ваше будет рассматриваться сегодня вечером. Но вы можете уже считать себя принятыми в колхоз.

Так они сидят и разговаривают. Весело разговаривают и пьют чай. Молодцев ласкает кур Катерины, как собак. Кажется, что вся обстановка смеется вместе с ними и вместе с ними пьет чай.

На стене товарищ Калинин улыбается веселой улыбкой Михаила Ивановича. Перья точно не пишут, а поют. Бумага смеется чернилами.

Но вот вся обстановка – и люди, и вещи – меняется. Никто не смеется, и все принимают деловой, строгий вид, но отнюдь не бюрократический. В комнату входит кулак. Он входит тихо, согнутыми шагами, немного испуганными шагами с полунасмешливой улыбкой на полуиспуганном лице, держа подобострастную шапку в руке, готовый ко всему, умеющий погладить и ударить. Вот кулак свирепеет. Он меняет выражение лица, как меняют рубаху, с подобострастного на нахальное, и вот он уже не идет, он топает и кричит, он машет руками и кричит, он машет руками, точно хочет полетать, и вот всем кажется, что он летит. Он летит ногами по земле, как петух, весь взъерошенный и нахохленный, как петух, приготовившийся к драке.

– Я Петухов! – кричит он, хотя все знают, что он Петухов.

– Но вы не петух, – говорит ему Молодцев, – зачем же вы так кричите и машете крыльями? Не махайте руками.

– Буду, – кричит кулак, – махать руками. – Он машет руками. – Потому что нет такого распоряжения, чтобы вешать мое изображение в огороде.

– Нет такого распоряжения, – подтверждает товарищ Молодцев.

– Раз нет, – кричит кулак, – так сию минуту снимите!

– Но снимать тоже нет распоряжения, – говорит, улыбаясь, товарищ Молодцев, – нет распоряжения, чтобы снимать.

– Как нет распоряжения? А вешать есть распоряжение?

– Ни вешать, ни снимать.

– Тогда я сам сниму, – говорит кулак.

– Если сумеете, – говорит товарищ Молодцев, – но вы не сумеете.

И кулак уходит, размахивая руками.

В это время входят Коньков и Чашкин. Они посмеиваются: встретили кулака. И уводят Катерину и ее мужа осматривать достижения. И Молодцев, довольный, ходит по комнате.

– Вот мы и обзавелись женщиной, – говорит он, – дайте срок – придут и остальные. Им будет легче прийти, благо их мужья, отцы, братья и сыновья здесь. А этой пришлось вести мужа чуть ли не на аркане. Видели, как он перетрусил Петухова, не знал, куда спрятаться. Боится. Батрак и хозяин...

А Катерина осматривает достижения. Но они прячутся за спины недостатков. Недостатки, как кулаки, всегда выпирают вперед. Особенно когда работу осматривает женщина. Женщина всегда вперед видит недостатки. И Катерина

осматривает те отрасли хозяйства, которые ближе к ней. Они были самыми слабыми отраслями. Курицы и петухи, опустив головы и хвосты, грязные курицы и петухи ходили по двору. Не было женщин следить за ними. И потому за ними следили мужчины. Сад походил на огород, и даже огород с большой «О», гордость мужчин, был огородом недостатков. Она сорвала редьку. И редька не походила на редьку, черт знает на что. Она пошла на кухню и попробовала суп. И что же, суп не походил на суп, хотя туда было положено все, что требовалось для супа: масло, овощи, крупа. Это было масло, овощи, крупа, а не суп, механическая смесь, ничего общего не имеющая с супом. Она попробовала второе и пришла к выводу, что второе не лучше ли вылить свиньям. В нем было все, что нужно для второго: мясо, картофель, масло. Но мясо было недожарено, картофель пережарен, а масло сгорело. И во всем виноваты одни руки, эти мужские руки, эти неопытные руки, руки, которые не в состоянии сварить обед.

Она идет к коровам и видит, что коровы не вымыты, телята лежат не так, как им нужно лежать, овцы стоят так, как им не нужно стоять. И во всем виноваты одни руки, эти мужские руки, руки, умеющие только косить, пахать да обращаться с лошадьми. Она идет в маслобойню и замечает одни недостатки. Молоко наливают не так. Пропадает много молока. Сепаратор не вычищен. Маслобойки грязны, и масло получается не масло, а смесь масла и грязи. И во всем виноваты одни руки, эти мужские руки, руки, не умеющие взбить

масла, руки, не умеющие аккуратно налить молока. Она идет сюда и видит одни недостатки, она идет туда и видит одни недостатки. И во всем виноваты одни руки, эти мужские руки.

– Эти руки нужно бы отрубить, – но потом она смягчает свой приговор. – Мужчины не виноваты. Им приходится исполнять женскую работу, потому что в колхозе нет женщин. Виноваты женщины.

И опять недостатки. Тут грязь. Тут сор. Даже собаки не похожи на собак, а кошки на кошек. И везде мыши, крысы, мыши. Амбары походят на свинарники, кладовые походят на свинарники.

– Вам бы разводить свиней. – Она идет в свинарник, и что же, свинарник не похож на свинарник, свиньи не походят на свиней. Эти свиньи – не свиньи, а свинарник – не свинарник, а помойная яма. И во всем виноваты одни руки, эти мужские руки, эти неумные руки.

– Нет, им нельзя даже разводить свиней, – говорит она.

– Но они не виноваты, – снова амнистирует она их, – виноваты женщины, бабы, их жены, которые отказались войти в колхоз.

Она идет в парники. Но эти парники – не парники огурцов, а парники недостатков. Недостатки растут, как огурцы.

Теперь Чашкин и Коньков смотрят на всё ее глазами, они видят недостатки там, где раньше не замечали их. Им немного обидно, но главное, они боятся, боятся одного, они шепоч-

том упрекают друг друга и исподтишка пихают один другого кулаком в бок.

– Зачем ты повел ее сюда? Надо было сначала показать наши достижения, наши поля или наших лошадей, наши машины.

– Ну конечно. Это ведь не я, а ты повел ее сюда. Дурак этакий! Теперь она уйдет, она порвет заявление, непременно уйдет, и всё из-за тебя.

– Нет, из-за тебя! Она уйдет!

– Нет, из-за тебя!

Они уже готовы подраться. И они дерутся и кричат, позабыв, что их может услышать Катерина.

– Она уйдет из-за тебя. – Удар по голове.

– Нет, из-за тебя! – Удар по шее и в грудь.

– Да никуда я не уйду, дурни этикие, – разнимает их Катерина.

Они смотрят на нее и видят: она смеется. Ну конечно, они ее плохо знают. Недостатки только способны усилить ее энергию, усилить ее желание работать.

– Какие мы остолопы. Ну конечно, она останется.

И они снова идут на огород, но уже не затем, чтобы открывать недостатки, а так, повеселиться, посмеяться над изображением кулака. Катерина видит своего мужа – он стоит перед чучелом и хохочет.

Они стоят и смеются, а над ними огромное чучело кулака – Петухов, увеличенный в три раза, и руки, приделанные

позади к спине, руки в виде крыльев ветряной мельницы машут, как руки Петухова.

– Вот и хорошо, – говорит Катерина. – Есть недостатки. А я опасалась, что у вас гладко, как на бумаге. И мне нечего будет делать. Недостатки – это не так плохо, если их можно исправить.

– Конечно, – отвечает муж, – но еще лучше, если их нет.

– Вот и хорошо, – подтверждают Чашкин и Коньков.

Вот и хорошо.

Глава третья

Каждый колхоз имеет свою историю. Как организовался вот этот колхоз, должен знать каждый читатель. Но автор сидит (я сижу) сложа руки, потому что автор (потому что я) – мы не знаем истории этого колхоза. Нас в то время здесь не было. А передавать с чужих слов – лучше совсем не передавать. И я сижу сложа руки.

Но читатель не способен прощать автора. Автор должен знать всё, иначе он не автор. И читатель требует, в противном случае он возвратит книгу в библиотеку непрочитанной и выругает автора (выругает меня).

– Но постойте, постойте, товарищ, я, кажется, нашел выход. И вот он. Мы – я и вы, читатель и писатель, – мы попросим товарища Молодцева описать возникновение колхоза. – И чтобы не откладывать в долгий ящик, мы подходим к нему и просим. Но товарищ Молодцев отказывается. У него и без того много дела, кроме того, это ему не по плечу, он не писатель. Так отказывается он. Но от нас не так-то легко отделаться. Мы настаиваем, упрашиваем и в конце концов просто пристаём.

– Без этой главы пропадет весь роман, – говорим мы, – и колхоз не будет описан. – И товарищ Молодцев сдаётся, он соглашается.

– Мне нужно писать письмо приятелям, – говорит он, –

используйте это письмо.

И вот я передаю ему свое перо. Он берет мое перо. И пишет.

Как всегда, он делает два дела одновременно.

Он пишет письмо. Но это письмо, кроме того, и глава моего романа. «Забыли ли вы, как мы брали Омск и Колчак удирал с быстротою колес своего поезда? – пишет он. – Теперь, как вам известно, я в деревне», – и зачеркивает написанное. «В этой деревне, – пишет он снова, – не было ничего. То есть в этой деревне были кулаки, середняки, бедняки, но не было колхоза».

Я слежу за его пером, как за своим пером. Я стою за его спиной. Я жду. Вот он повернется ко мне, ища моей поддержки. И я скажу: «Здорово! Здорово! Так начать мог только я». Но он не обращает внимания на меня, точно меня не было, как не было еще этого колхоза. И он пишет дальше:

«Кулаки, середняки, бедняки и кулачки, середнячки, беднячки. В этой деревне всегда славились женщины, бабы энергичные, как женщины Гоголя, девушки не девушки, а костры, старухи не старухи, пожары! И в городе учли это обстоятельство, послали докладчика сделать женщинам доклад. Сагитировать женщин – значит уже организовать колхоз, потому что женщины сагируют мужчин быстрее самого лучшего оратора. Послали оратора. И вот он приехал, держа портфель таким образом, что женщины увидели только портфель. Он начал, по всей вероятности, с международного

положения, он начал в большой черной комнате, наполовину кухне, наполовину зале, представлявшей собой наполовину конференц-зал, наполовину ни то ни се.

Комната, наполовину кухня, наполовину спальня, была переполнена. Все женщины всех возрастов, не исключая девочек-пионерок всей деревни, собрались здесь. Старухи, сморщенные, как их лица, старухи и старушки в черном слушали всем своим сморщенным телом, сморщенными платками и платьями. И посреди старух сидели разноцветные женщины, энергичные бабы, решительные и готовые на всё. Оратор говорил, сопровождая свою речь цифрами и движением руки. Но цифры были излишни, так же как и движения его руки. Женщинам нужна была чистая речь, не загрязненная арифметикой, речь чистая и стремительная, как лозунг. Потому что женщины были в повышенном настроении. Они верили, не хотели никаких доказательств. Докладчик говорил наполовину о международном положении, наполовину так, вообще, и женщины слушали внимательно и шушукались между собой, потому что деревенские женщины, эти энергичные существа, не умеют слушать пассивно. Они слушают активно не только ушами, но глазами, руками, всем своим существом и, конечно, языком. Они шушукались между собой, то есть делились впечатлениями: „А Пилсудский-то, Пилсудский, он хуже нашего Петухова“. И слушали, слушали. Но вот оратор подошел к основной теме. Он говорил о колхозе таким голосом и сопровождал свои слова такими же-

стами, как говорят только о мировой революции. И он попал в точку. Кто знает деревенских женщин, тот ошибается, потому что он не знает их. Никто не знает деревенских баб. Потому что все уверены, что для бабы важно хозяйство, вот это молоко этой коровы, свиньи, телята, горшки и выгода, остальное для нее несущественно. Для этих женщин, для этих девушек и даже для этих старух задача пролетарского государства была в эти минуты важнее всего, потому что они хотели быть героями, и они были героями, вот эти бабы, вот эти девки и вот эти старухи. В эту минуту для них было выгодно только то, что выгодно революции. Они хотели быть настоящими революционерками, они могли быть ими, они уже почти ими были, стоило только оратору... Но об этом после...

Они слушали оратора, перешептываясь между собой, это было доказательством того, что они слушали с интересом, они слушали с энтузиазмом. Но оратор думал противное, потому что он плохо знал деревенских женщин. „Им не нравятся мои трескучие фразы, – подумал он, – нужно говорить конкретнее“. И он стал говорить конкретнее. Он уже не говорил о задачах революции, о строительстве социализма в одной стране, о том, что вот от этих женщин зависит это строительство, и он стал говорить о выгоде. О выгоде коллективного хозяйства перед индивидуальным (единоличным), о количестве молока, которое будут давать улучшенные породы скота, о количестве и качестве масла, о том, что колхозы вы-

годнее всего женщинам, потому что там будут ясли, женщины будут избавлены от детей (избавлены!). Только там женщины уподобятся мужчинам, короче говоря, только в колхозе будет устранено в полном смысле биологическое (?) и общественное неравенство. И опять о выгоде, о масле, о свиньях, об общей кухне.

– Даже суп, – заявил оратор, – который вы будете варить в колхозе, будет вкуснее вашего индивидуального супа. – Он заявил это, очевидно желая вызвать реакцию смеха. Но никто не засмеялся, никто не улыбнулся, никто не пошевелился. Теперь все слушали молча. „Как зачарованные“, – подумал оратор. Но он ошибался. Просто-напросто конец доклада понравился им гораздо меньше, чем начало, и бабы слушали его без особого энтузиазма и не перешептываясь.

– Да здравствует коллективное хозяйство, колхоз! – закончил оратор, довольный собой и своим докладом.

И гром аплодисментов, который последовал за его последними словами, подтвердил его мысль, что дело начато хорошо. Бабы вступят в колхоз.

Ему хлопали сморщенные старушечьи ладони рядом с потрескавшимися от работы ладонями пожилых женщин, рядом с румяными руками девушек и молодых.

И оратор, я не помню его фамилию и потому называю просто оратор, товарищ оратор спросил у собравшихся, будут ли к нему вопросы. Сначала вопросов не было.

„Это плохо“, – подумал оратор и сказал:

– Это плохо!

„Какой доклад без вопросов, – подумал он, – такой доклад не доклад“.

– Такой доклад не доклад, – сказал он.

И вот несколько женщин, несколько молодых несколькими голосами спросили его хором:

– Есть ли у вас жена? – спросили они его.

Есть ли у него жена?

И оратор остался довольным заданным вопросом.

„Такие вопросы, – подумал он, – создают семейный характер в аудитории и потому содействуют сближению, связывают оратора с массой“.

И он ответил:

– Есть.

Тогда бабы пошушукались между собой и спросили:

– А она вступит к нам в колхоз?

Оратор не обратил внимания, что этим вопросом бабы как бы давали свое согласие на организацию колхоза, он увидел только то, что бабы заинтересовались его персоной и спрашивают о жене, чтобы узнать о нем. Неудобно же спрашивать прямо о нем.

И он ответил гордо, выпятив портфель и живот:

– Моя жена не нуждается, – гордо ответил он, – я зарабатываю столько, чтобы ее прокормить.

Дурак!

Одной фразой было уничтожено всё. Двумя-тремя слова-

ми был зачеркнут целый колхоз.

Все женщины, старухи, молодайки, девки, вскочили с места, как одна старуха, как одна молодайка, как одна девка. Все как одна. Над ними издевались. Насмеялись над лучшими их желаниями.

– Так значит, колхоз – это богадельня, – сказали они всем собранием, голосами всех, – значит, наши мужья и наши отцы не в состоянии прокормить нас.

– Вон, – сказали они затем и показали оратору на дверь. И оратор не заставил себя долго просить, схватив портфель, он был таков.

– Хорошо, что убрался, – сказали женщины, сказали старухи, сказали молодайки, сказали девки, – не то мы бы показали ему богадельню. Это нас-то в богадельню. Мы бы ему показали.

И вот результаты. Ни одна женщина не хотела и слушать о колхозе.

– Мы сами в состоянии прокормить себя, – говорили они, – если даже наши мужья будут не в состоянии прокормить нас.

Я делал всё, что мог. Но записались одни мужчины. Я записал в колхоз свою сестру. Она приехала из города, она вышла на работу. И она шла – одна – среди сотен мужчин. Кроме нее, не было ни одной женщины. Немного позже вступили четыре девушки, четыре комсомолки, но никто не последовал их примеру. Даже жены батраков, даже жены пар-

тийцев ни за что не хотели идти к нам. Ни уговоры, ни обещания, ни прямая экономическая выгода, ничто не в состоянии было сагитировать их, чтобы они вступали в колхоз. Тем мужьям, партийцам и батракам, которые уговаривали своих жен, жены отвечали, что разойдутся с ними, но ни за что не вступят в колхоз. И многие расходились. Это было невиданное проявление небывалого самолюбия, оскорбленного самолюбия десятков и сотен, организованного самолюбия угнетенных и попрекаемых веками, это был поток самолюбия и энтузиазм сопротивления. Это было последствием одной неосторожной фразы, одной глупой фразы, сказанной неосторожным представителем города – им, женщинам деревни. Это было доказательством того, что слово, одно слово или несколько слов, фраза, сказанная неизвестным оратором, фраза обыкновенного человека, одна фраза сделала больше, чем усилия десятков кулаков, чем старания сотен колхозников, чем наши трудности и наши победы.

Одна фраза! Одного человека!

И наш колхоз в продолжение двух месяцев представлял собой два фронта. На одном фронте полная победа, на другом фронте полное поражение. На фронте полей, запаханых и засеянных, была победа. На фронте животноводства – полное поражение. Мужчины доказали, что они еще не умеют управлять коровами и курицами, доить коров и создать курицам такую обстановку, а может быть, и такое настроение, чтобы они несли яйца.

Ни яиц, ни масла. Впрочем, и яйца, и масло, но в таком мизерном количестве, что справедливее будет сказать: ни яиц, ни масла. С мужчинами в колхоз вступало мужское хозяйство – орудия труда, лошади, женское же хозяйство – коровы, свиньи, курицы – по большей части оставалось с женщинами. Нам пришлось покупать коров и куриц, затратить те деньги, которые были предназначены на покупку машин. И воевать с женщинами. Это была подлинная война мужчин и женщин, война, выгоду от которой получали только кулаки, как капиталисты от войны империалистической. И некоторые мужья – можете себе представить, до чего доходило дело, – ночью, как воры, тайком пробирались в свои дворы и воровали у своих жен своих коров и своих куриц. Впоследствии, когда мы, совет колхоза, узнали про это, мы повели с этим решительную борьбу. Но прежде, как это водится, узнали кулаки. Они в глаза и за глаза называли нас ворами и показывали на нас пальцами.

Так и продолжалось два месяца, пока... пока одна молодая женщина, жена одного батрака, не вступила к нам в колхоз. Фамилия этого товарища – Оседлова. Но подождите, нужно по порядку. Наши пионеры приписывают причину ее вступления себе: они говорят, что это им удалось ее сагитировать. Муж этого товарища, муж, чуть ли не насильно приведенный ею в колхоз (он находился в полной зависимости и кабале у кулаков), этот муж говорит, что она вступила, чтобы отомстить кулакам (дети кулаков убили ее единственную ко-

рову). Но сама она говорит, что вступила потому, что хотела вступить. Это единственная классово-сознательная женщина нашей деревни. „Она вступила потому, что хотела вступить“. Вступила наперекор всем.

„Я вступила для того, чтобы бороться с кулаками“ – так она просила написать в заявлении, она, эта неграмотная женщина.

И вот наши курицы стали нести яйца, наши коровы стали давать больше молока, наше масло можно было везти в город. Эта женщина, казалось, заменила в нашем хозяйстве всех отсутствующих женщин.

И вот мы увидели, как поворачивается наше хозяйство, наши коровы и овцы, наши свиньи и гуси, наши огороды и сады, так поворачивается трактор, управляемый уверенной рукой тракториста. Она изменила наше хозяйство. В каких-нибудь три недели!

Она выучилась грамоте, вступила в партию, организовала кружки. Но главное, главное, она не забывала, зачем она пришла к нам. „Чтобы помочь ликвидировать кулака как класс“. И прежде всего помочь нам вовлечь женщин. „Женщины не идут за нами, – рассуждала она, – следовательно, они идут за кулаком“.

– Разъяснить это женам бедняков и батраков, – говорила она, – это сделать больше чем наполовину дела. Тогда уже нетрудно будет вовлечь их в колхоз. А за ними уже придут и жены середняков. Нужно только взяться за дело.

И она взялась за дело. Она приступила к делу так, как нам давно следовало приступить, но что мы не догадались сделать. Она собрала жен батраков, бедняков и красноармейцев. Она сделала им доклад не о колхозе прямо, а о колхозе косвенно, она говорила о кулаках, какими средствами кулаки борются с колхозниками (убийства бедняков, поджоги, ложные слухи). Она показала им кулацкое оружие и перечислила факты, случившиеся в окрестных деревнях и в нашей деревне. Она довела их до того, что жены бедняков, батраков и красноармейцев подняли свои худые руки, готовые пойти в классовый бой. Теперь уже можно было говорить о главном. Но она не говорила. Она только вскользь заметила, что вся борьба, все сопротивление кулаков направлено на колхоз. Затем опять ни слова о колхозе. Только о кулаках: кулаки, кулаки, кулаки. И наконец заключение, смелое, как удар: – Вы помогаете кулаку, бойкотируя колхоз.

И вот результаты: все присутствующие женщины, как одна, записались в колхоз. Неумевшие писать ставили крестики. Так был нанесен сокрушительный удар кулакам.

О себе не пишу: некогда.

Молодцев».

Глава четвертая

Он передает мне свое перо, вы слышите, он передает перо. Но то перо теперь не только мое и не только его, то перо наше. И я пишу нашим пером, общим пером, и замечаю, как меняется мой стиль. Я пишу уже не так, как в предыдущих главах, и мне становится ясно: я пишу под Молодцева.

Он под меня, я под него, взаимное влияние, взаимная радость. И я радуюсь, что я пишу нашим пером, и уже не мой, а наш роман, нашим стилем.

Одно перо, одна бумага, одни мысли, один роман.

И наша дружба растет не только на бумаге, но и в действительности: он, думаю я, поможет мне написать этот роман. И я пишу так же, как писал бы он. Я пишу, как он косит. Так же размашисто, так же уверенно и так же весело.

Я пишу!

И колхоз, наш колхоз, под моим пером, под нашим пером, приобретает понемногу живые формы. И вот он уже не действительность, описанная на бумаге, а сама действительность. И я уже вижу этот колхоз, как этот стол, как это перо, как эти слова. Но я не только читаю его, а вижу своими глазами, слышу своими ушами, ощупываю своими руками. Вот я ощущаю теплую кожу, живую шерсть вот этих быков. Я вижу, как они дышат. И пар окутывает меня, то пар навоза и животных.

Я нагнулся посмотреть у коровы вымя, и корова провела по моему лицу хвостом, как кистью. И я иду с запахом на лице, с лицом, запачканным калом, мимо этих коров навстречу этим бабам. Они идут с подойниками и руками, доить, и смеются надо мной смехом, похожим на молоко, они смеются молоком и щеками.

Я вижу Катерину Оседлову – энергичную женщину, главного мастера коровьего и птичьего цеха, управляющую всем ходящим на четырех ногах (за исключением лошадей!), всем летающим и всем плавающим.

– Одним словом, командарм армии, всего морского и всего воздушного флота, – приветствую я ее.

Она смеется, но кажется, что смеются у нее одни руки, веселые руки, умеющие смеяться и работать.

– Вот теперь ваш колхоз, – говорю я ей, – как колхоз. Уже не мужской монастырь. И мужчины, и женщины, и поля, и птицы – колхоз всем колхозам.

– Теперь комплименты не в моде, – смеется она и продолжает деловым тоном: – А колхоз наш еще не колхоз, а недалеко ушел от хозяйства единоличника. Еще много нам нужно сделать, чтобы превратить его в настоящий колхоз.

И вдруг она хохочет, смеется уже не руками, а лицом, хохочет всем телом.

– Что это на вас, – едва говорит она, – бегите, вымойтесь. Бегите, бегите. – И на момент, короткий, как хвост коровы, я вспоминаю о своем лице.

– Пустяки, – сказал я и вытер лицо ее фартуком, пахнущим молоком.

– Вы лучше скажите, чем ваш колхоз еще не колхоз. А по моему, он колхоз на все сто процентов.

– И все-таки вы плохо вытерли, – сказала она, – не вытерли, а только размазали. Идите умойтесь.

– Потом, потом, – нетерпеливо крикнул я, – скажите сначала, какие недостатки, покажите, в чем он еще не колхоз.

– Сначала умойтесь, – сказала она мне, как ребенку, – потом покажу.

– Нет, – не соглашался я, как ребенок, – сначала покажите, потом умоюсь.

– В таком случае, – сказала она, – я вас сама вымою, – и, взяв меня за руку, как маленького мальчика, повела в умывальную.

– Теперь покажете? – спросил я.

– Нечего показывать, – сказала она. – Нечего и некогда. Пойдете в поле, увидите сами. А если не увидите, наденьте очки. А потом возвращайтесь сюда и здесь посмотрите хорошенько, и здесь увидите.

– Ничего не вижу, – сказал я.

– Идите, идите. Увидите.

И я пошел. Я иду. По дороге встречаю кулака Луку. И некоторое время мы идем с ним вместе.

– А вы знаете, что такое Япония? – спрашивает кулак.

– Нет, не был, – говорю я, – не знаю.

– А я знаю, – говорит кулак.

– Что такое Япония? – спрашиваю я.

– Япония – это страна, – говорит кулак.

Молчание.

– А я, брат, на японской войне был, – говорит мне кулак, – японцев видел. Они все одинаковые. Рост одинаковый, лицо одинаковое, костюм одинаковый.

– Неужели одинаковый? – спрашиваю я.

– Одинаковый, – говорит кулак.

Молчание.

– Вот бы из них колхоз-то организовать, – говорит кулак, – хорошее бы дело. А то что это за колхозники. Один высокий, другой низенький, один черный, другой рыжий, один красивый, другой некрасивый. У одного две коровы да три коня, у другого ни коровы, ни коня, ни кола, ни курицы. У одного руки, этими руками только и пахать, у других – ни рук, ни ног, ни головы, одна спина, чтобы лежать... Эх, колхозы, колхозы – японское дело!

Мы расходимся. И я прихожу на поля. Поля как поля. Колхозники пахут. Всё в порядке. Подхожу еще ближе, это пашет молодежь. Вот Фека, вот Мотыка Муравьев, вот Жеребцов, вот остальные. Они работают без особого энтузиазма, но и без лени. Работают как работают. Все вместе. «А чего-то не хватает, – думаю я, – чего, чего?» И никак не могу догадаться – чего?

И я снова осматриваю поле. Кажется, всё в порядке. Ра-

ботають колективно. Впереди лошадь и двухкорпусной плуг Муравьева, за ним парные и однолемешные – плуг за плугом – не меньше сорока плугов.

С другой стороны поля другая группа молодежи, плуг за плугом, не меньше сорока плугов. Группы переговариваются между собой, изредка переругиваются. «Другое дело, если бы посмеивались друг над другом, – думаю я, – тогда работа бы шла быстрее». Но они работают спокойно, как едят, и медленно, как пьют чай. Обе группы не следят одна за другой, не обращают внимания на то, кто из них впереди, кто отстаёт, работают, как курят или как плюют. Медленно, медленно, как часы этой работы. Впрочем, ни у кого нет часов. Они работают, как этот день, медленный и жаркий, не столько работают, сколько существуют.

Их медлительность передается моему перу. И я пишу, как они работают.

Но где же старики, да и не только старики? Где остальные колхозники? Здесь только одна молодежь. «Неужели остальные, – думаю я со страхом, – ушли? Не может быть. Женщины пришли, мужчины ушли. Так не бывает».

И я спрашиваю у молодежи:

– Где остальные? Где старики?

– Каждый у себя, – насмешливо отвечает мне какой-то паренек.

Над кем он посмеивается: над стариками или надо мной? Наверное, над стариками. Но что это значит «каждый у се-

бя»? Что это значит?

Я выбираю левую сторону, иду налево, по черному вспаханному полю. Ничего, кроме вспаханного поля! Я смотрю на небо, и оно кажется мне вспаханным. Под вспаханным небом по вспаханной земле я иду под солнцем. Солнце заменяет мне шляпу. Но вот ноги мои на траве, запаханная земля кончилась и начинается неспаханная.

Я вижу маленький участок, и маленький старичок на маленькой лошадке пашет маленькое поле.

«Единоличник», – думаю я.

Я прохожу несколько шагов, и снова маленький участок, и такой же маленький старичок на маленькой лошадке пашет маленькое поле.

«Снова единоличник», – думаю я.

Я иду дальше, прохожу несколько шагов, снова маленький участок, и такой же маленький старичок пашет на маленькой лошадке маленькое поле.

«Еще единоличник», – думаю я.

Я иду дальше, прохожу несколько шагов, снова маленький участок, и такой же маленький старичок на такой же маленькой лошадке пашет маленькое поле.

«Что за черт, – думаю я. – Такое же поле, такая же лошадь, такой же старичок. Может быть, я хожу вокруг одного и того же поля и вижу одного и того же старичка. „Леший водит“».

Я осматриваю старичка: нет, не тот, у предыдущего была борода седая, а у этого только с проседью. У того была ру-

башка синего цвета, а у этого только с просинью.

И я высказываю свою мысль.

– А я думал, что земля-то колхозная?

– А чья же больше, – отвечает мне старичок, – конечно колхозная.

«Как же так, – думаю я, – не стал же колхоз сдавать свою землю в аренду единоличникам. Это же невозможно. Но почему? Почему?..»

Я иду дальше, прохожу несколько шагов, снова маленький участок, и такой же маленький старичок пашет на маленькой лошадке маленькое поле.

«Тот самый, – размышляю я и всматриваюсь, – нет, не тот. У предыдущего лошадь была вороная, а у этого каряя. Не тот».

И я спрашиваю его о том, о чем уже спрашивал предыдущего:

– А я думал, что земля-то колхозная?

– А чья же больше, – отвечает мне старик прежним голосом, – конечно колхозная.

«Что за черт, – думаю я, – ну конечно тот. Тот же голос, тот же ответ, только лошадь другая. Не переменял же он лошадь, пока я ходил».

И я спрашиваю его:

– Скажите, вы сегодня всё на одной лошади пашете или меняли ее?

– Всё на одной. Зачем же менять?

Но потом он подумал и вдруг рассердился, вообразив, что я его заподозрил в чем-то нехорошем.

– Зачем менять? Я чужого добра не хочу. Со своим проживу. Зачем мне менять.

Я иду дальше, прохожу несколько шагов, снова маленький участок, и такой же маленький старичок на маленькой лошадке пашет маленькое поле.

Я спрашиваю его, как и предыдущего:

– А я думал, что земля-то колхозная?

– А чья же больше, – сердито отвечает мне старичок прежним голосом, – конечно колхозная.

«Что за черт, – думаю я, – ну конечно тот».

Тот же голос, тот же ответ, только лошадь другая. Не переменил же он лошадь, пока я ходил.

– Скажите, вы сегодня всё на одной лошади пашете или меняли ее?

– Всё на одной. Зачем же менять?

Но потом он подумал и вдруг рассердился, вообразив, что я его заподозрил в чем-то нехорошем.

– Зачем менять? Я чужого добра не хочу. Со своим проживу. Зачем мне менять?

«Тот. Тот же. Он самый, – подумал я, – и лошадь не та...»

Иду дальше, прохожу несколько шагов, снова маленький участок. И такой же маленький старичок пашет маленькое поле.

Только хотел я его спросить:

– А я думал, что земля-то...

– А чья же больше, – уже отвечает он тем же голосом, – конечно колхозная.

«Что за черт», – хотел только подумать я... И хотел уже спросить, только заикнулся:

– Скажите, вы сегодня всё на одной...

А он уже отвечает:

– Всё на одной. Зачем же менять?

Потом подумал или сделал вид, что подумал, и вдруг рассердился, вообразив или сделав вид, что вообразил, что я его заподозрил в чем-то нехорошем.

– Зачем же менять? Я чужого добра не хочу. Со своим проживу. Зачем мне менять?

Тот же. Тот. Теперь я не сомневался, что тот. Но каким же образом я ходил несколько часов вокруг одного и того же мужика и не замечал этого?

Я оглянулся – и что же, позади я увидел множество маленьких одинаковых участков и на них множество пахавших мужиков. Они показывали на меня пальцами и посмеивались.

«Как же я не догадался оглянуться», – подумал я. И мне стало ясно: каждый последующий мужик слышал вопрос, который я задавал каждому предыдущему мужику, и ответ заготовлял заранее.

«Ай да единоличники, – подумал я, – хитрые мужички». И вдруг спохватился, что самого главного-то не узнал. Каким

образом единоличники завладели колхозной землей.

Я подошел к одному из старичков и повторил свой вопрос.

— А я думал, что земля-то колхозная. — К моему удивлению, он посмотрел на меня без всякого удивления и ответил мне без всякой насмешки:

— А чья же больше, — ответил он, — конечно колхозная.

«Что за черт, — хотел было подумать я, — ну конечно тот», — но вовремя вспомнил, что мне уже известно, что не тот, и не подумал.

Я спросил:

— Что же, вам ее колхоз в аренду сдал, что ли?

Теперь старичок посмотрел на меня с явным удивлением и ответил с явной насмешкой:

— Колхоз не помещик и не кулак, — ответил мне старичок, — чтобы сдавать нашу землю нам же.

— Так это земля не колхозная?

— Колхозная!

— А вы единоличники? — спросил я.

— Откуда вы взяли, что мы единоличники, — сердито ответил старичок, — мы колхозники!

Теперь я понял всё. Так вот о чем мне говорила Катерина Оседлова, я припомнил также слова, сказанные мне в поле одним комсомольцем: «Каждый у себя». Теперь я понимал их смысл. Каждый у себя.

Старичок попросил у меня закурить и протянул руку за папиросой. Мне показалось, что все старички протягивали

руки за папироской, каждый по руке. И я стал обходить их маленькие поля, угощать стариков папиросами. Я ходил целый день, пока не вышли все папиросы. И остановился – отдать последнюю папиросу. Впереди было еще много старичков, но у меня уже не было больше папирос, и я остановился. Старичок, заметив, что я отдал ему последнюю папиросу, благодарно улыбнулся, остановил лошадь и прокашлялся, показывая этим, что он готов со мной говорить. «С чего бы начать?» – подумал я. И решил действовать прямо и решительно, как действовали бы на моем месте товарищ Молодцев или товарищ Оседлова.

– Скажите, товарищ, – обратился я к нему, и голос, которым я спрашивал, показался мне голосом Молодцева, – скажите, товарищ, – начал я голосом Молодцева, – скажите, пожалуйста, – и почувствовал, как голос Молодцева снова стал моим голосом, – как же так, земля-то колхозная...

– Уже было сказано, – сердито ответил старичок, – что колхозная.

– А вы колхозник?

– Уже было сказано, – сердито ответил старичок, – что колхозник.

– Так ответьте, – вдруг осмелел я, – почему же вы работаете как единоличник, обособленно?

– Понимаю, – уже весело ответил старичок, очевидно обрадовавшись новому вопросу (ему, как и читателю, надоело переливать из пустого в порожнее), – теперь я вас пони-

маю, – ответил он, – не впервой приходится отвечать. Потому работаем отдельно, что так привыкли. С детства работаем отдельно.

– Так у вас, – перебил я его, – получается не колхоз, а черт знает что.

– Зачем ругаетесь? – с укоризной сказал старичок. – Теперь не такое время... А колхоз у нас колхоз. Потому что работа идет в общую пользу. Собирать вместе будем, жать, молотить. А пахать отдельно, так сподручнее, потому что привыкли.

– Коли так, – сказал я, – колхоз у вас только на бумаге.

– И на бумаге, – подтвердил старичок, – как можно без бумаги. Ну, добрый путь вам. Надо работать. Мы – не лодыри. Мы – не молодежь. Это молодежь пашет вместе. Баловство, а не работа. Косить, жать – еще туда-сюда. А пахать только одному сподручно или с семьей. Мы – не молодежь.

Я поклонился старичку и пошел домой. Я считал глазами старичков, но глаза мои меня обманывали, старичков было не так много, десять, пятнадцать. Но папиросы! Папиросы! Папирос была целая пачка. Кому же больше верить – глазам или папиросам. Впрочем, папиросы я мог где-нибудь рассыпать. И я верил своим глазам. Старичков было не так много. Теперь я уже смотрел на их поля другими, более наблюдательными глазами. Глазами, замечающими то, чего они раньше не замечали. Я, например, увидел, что поля старичков были огорожены еле заметной изгородью. Это была конспи-

ративная изгородь – постороннему глазу ее трудно заметить: какие-то набросанные жерди, сломанные кусты, веревки, – но все же это была изгородь.

Изгородь и межа – символ всякого единоличника!

Здесь все поля были огорожены невидимыми изгородями. Воображаемая межа отделяла пашню от пашни.

Но изгородь остается изгородью, даже когда ее нет, но когда она существует в чем-то воображении. И межа остается межей.

Я подошел к одному старичку и спросил его, желая проверить свою догадку.

– Что же вы, – спросил я, – каждый на своем поле работаете, на котором работали до вступления в колхоз?

– На своем, – ответил старичок, – на котором век свой проработал. На своем как-то привычнее, веселее.

«О чем же думает Молодцев, – размышлял я по дороге, – неужели он ничего не замечает?»

Во дворе встретил меня Молодцев.

– Что, видел уже, – спросил он меня, – наших липовых колхозников, наших старичков?

– Видел, – сказал я, – как только вы это допускаете.

– До поры до времени, – ответил Молодцев. – До поры до времени. Их у нас немного. Все старички. В один день не переделаешь. Нужно время. Вот молодежь, да и взрослые работают не так. Видел?

В это время к нам подходит Катерина Оседлова. С подой-

ником в правой руке к нам подходит Оседлова.

– Ну что, видели? – спрашивает она.

– Видел.

Молодцев, махнув рукой, уходит.

– А теперь посмотрите у нас во дворе, – говорит Катерина, – еще интереснее.

Много раз я ходил по двору, осматривал скотные дворы, породы, сады, побывал в кухне, но ничего особенного не заметил.

Дворы были как дворы. Сады были как сады. И кухня была как кухня. Но вступил я во двор, только вошел в кухню, только открыл дверь – все изменилось, вернее, ничто не изменилось, а просто я научился видеть. Все было не так, как раньше.

Вот я вошел в кухню. Сначала кухня была как кухня. Несколько молодых девушек, подстриженных и подвязанных красными платками, организованно варили суп. На большой плите стоял большой котел, ничего, кроме плиты, котла, супа и этих организованных рук.

Они весело варили суп, посмеиваясь и напевая.

– Неужели в этом котле варится суп, – спросил я, – для всего колхоза? Маловато, маловато.

– Нет, не для всего, – ответила мне одна девушка подстриженным голоском, – а только для молодежи.

– А как же остальные?

– Остальные едят остальное, – сострила девушка и пока-

зала мне рукой на двор.

– Значит, тут у вас не вся кухня?

– Не вся.

Я вышел во двор, и что же – двор не походил на кухню. Двор был как двор. Громадный двор громадного колхоза. Я иду, как в поле. Двор велик, как поле. Но вот я вижу маленький костер. Подхожу, маленькая старушка в маленьком горшке варит суп.

«Единоличница», – подумал я.

Прохожу несколько шагов, и снова маленький костер. И такая же маленькая старушка в таком же маленьком горшке варит такой же суп.

«Снова единоличница», – подумал я.

Я иду дальше, прохожу несколько шагов, снова маленький костер, и такая же маленькая старушка в таком же маленьком горшке варит такой же суп.

«Что за черт, – думаю я, – такой же костер, такая же старушка в таком же горшке варит такой же суп. Может быть, я хожу вокруг одного и того же костра и вижу одну и ту же старушку?» – Я осматриваю старушку: нет, не та. У той были волосы седые, а у этой только с проседью, у той было платье синее, а у этой только с просинью.

И я высказываю свою мысль:

– А я думал, что двор-то колхозный.

– А чей же больше, – отвечает мне старушка, – конечно колхозный.

«Как же так, — думаю я, — не будут же единоличницы варить суп в чужом дворе. Это что-то не то».

Я иду дальше, прохожу несколько шагов, снова маленький костер, и такая же маленькая старушка в таком же маленьком горшке варит такой же суп.

«Та самая, — вглядываюсь я, — нет, не та. У предыдущей горшок был глиняный, а у этой чугунный. Не та».

— А я думал, — спрашиваю я ее, — что двор-то колхозный?

— А чей же больше, — отвечает мне старушка, — конечно колхозный.

«Что за черт, — думаю я, — конечно та. Тот же голос, тот же ответ, только горшок другой. Не переменила же она горшок, пока я ходил».

И я спрашиваю:

— Скажите, вы сегодня всё на одной лошади, то есть всё в одном горшке варите или переменили?

— Всё в одном. Зачем же менять. — Но потом она подумала и вдруг рассердилась, вообразив, что я заподозрил ее в чем-то нехорошем:

— Зачем же менять. Я чужого добра не хочу. Со своим проживу. Зачем мне менять.

Иду дальше, прохожу несколько шагов и так далее.

— А что, двор-то колхозный?

— А чей же больше, — отвечает старушка.

«Что за черт, — думаю я. — Тот же голос, тот же ответ и так далее».

– Скажите, вы сегодня всё на одной...

– Всё на одной, зачем же менять.

Тут я спохватился, нужно про горшок, а не про лошадь.

– Я про горшок, – говорю я.

– А я про лошадь, – отвечает старушка.

Гляжу – вместо старушки старик, а вместо горшка лошадь...

– Не то, не то. Я спутал...

Иду дальше, снова маленький котел, и такая же маленькая старушка в таком же горшке варит тот же суп.

Только хотел я ее спросить, а она уже отвечает.

Только я хотел подумать: «Что за черт...» – а старушка мне говорит:

– Попробуйте мой суп. – И выливает мне ложку в рот.

Иду дальше, прохожу несколько шагов, короче говоря, такая же старушка выливает мне в рот такую же ложку. Иду дальше, снова костер, старушка, ложка. Дальше – костер, старушка, ложка. Сколько костров – столько ложек. Вот я сыт, вот я объелся, вот я лопну. Но рот открывается и закрывается помимо моей воли. Я бегу. И они гонятся за мной – одинаковые на одинаковых лошадях и с одинаковыми горшками.

«Это сон, – думаю я, – или не сон».

И просыпаюсь.

Это был сон. Он приснился мне под двумя разными впечатлениями, слова кулака и слова Катерины соединились как

противоположности, и я увидел сон, похожий на сказку про белого бычка.

Я протер глаза и вышел во двор. Двор был как двор. Ни костров, ни горшков, ни старушек. И кухня была как кухня. Громадная плита, громадные котлы и организованные женщины, коллективно варившие суп. Я пошел в поле. И поле было как поле. Как всякое поле всякого хорошего колхоза. Старики пашут вместе с молодежью. Ни отдельных участков, ни одинаковых мужичков, ни изгородей, ни одинаковых лошадок.

Этот сон похож на кулацкую агитацию.

Встречаю Катерину. Она несет какие-то бумаги.

– Ну что, видел?

– Видел.

– Где видел?

– Во сне.

– Что видел?

И я рассказал ей свой сон.

– Пустяки, – говорит она, – впрочем, в твоем сне есть доля правды. Пахали наши старички отдельно, и суп бабы варили отдельно. Но это в прошлом. Сходи на поля или на кухню, и ты увидишь другое. А я говорила тебе про другое. Я говорила тебе про другое. Я имела в виду то, что у нас еще не научились организовано и быстро работать. Много времени уходит на курение, на разговоры, на пустяки. А все-таки, я про сон, – засмеялась она, – кулацкий сон ты видел. Одина-

ковые старики, одинаковые старушки, одинаковые горшки. Сам ты одинаковый.

– Кулацкий, – смеюсь я.

– Право, ты, – говорит она, – право, уклонист.

– Ты куда?

– Я на производственное совещание. Заходи. Послушаешь.

Я пришел к концу заседания. Деловая часть заседания была закончена. Перед двумя или тремя десятками колхозников-активистов стояла Катерина. Перед ней лежали бумаги.

– Итак, мы начинаем социалистическое соревнование.

Она сказала несколько слов о международном и внутреннем положении, о невспаханных полях. Затем сделала жест, и я догадался, что она будет говорить о кулаках.

Вот несколько сказанных ею слов. И вот снова оживают, и мне кажется и всем сидящим, на горизонте появляются три символа.

Три символа, как три фигуры, появляются на горизонте.

Кулак, поп и бывший помещик.

Три символа трех врагов.

Глава пятая

На воротах кулака висел замок. Кулак Петухов ходил по двору, размахивая ключом вместо трости. Его дом был замкнут на замок. Его амбар был замкнут на замок. Лошади и коровы замкнуты, овцы и свиньи замкнуты. Казалось, что был замкнут на замок воздух в его дворе, замкнуты деревья в его саду, трава на земле, птицы в воздухе. И он сам был замкнут на замок.

«Я кулак», – подумал кулак.

Он был кулаком, представителем класса кулаков, символом своего класса, как замок символом его хозяйства. Он подошел к одному из своих амбаров и, сняв замок, повесил его себе на грудь, как крест.

На переднем плане висели громадные весы, орудие обмана и хитрости, символ вчерашнего могущества. Весы на фоне пустых мешков и сусеков, насмешка и намек, обещание и надежда.

С замком на груди кулак вошел в дом, и дом встретил его молчанием. В его доме не было частных, весь дом был целое, как бревно. В его доме печка составляла стенку, стол был прибит к полу, стулья росли из полу, как деревья, сундуки были вбиты в стены, предметы на столе – самовар, чашки, ложки – составляли одно целое со столом. Иконы на стене – стену. Даже сор был неотделим от пола, точно его прикле-

или, и кулак, войдя в дом и сев на стул, тоже стал частью дома, как бревно частью стены. Он слился с окружающими предметами.

Этот дом был торжеством живописи над действительностью: частности, неотделимые от целого, целое, неотделимое от частных.

Петухов налил себе стакан чаю и при этом подумал.

«Я пью чай», – подумал он.

Потом он вышел во двор, и что же – двор представлял одно целое: амбары соединялись с заборами, заборы соединялись с садом, сад с домом, дом с воротами, ворота с хлевом и конюшней, конюшня с амбарами, и все это стояло на кулацкой земле, принадлежало кулаку.

Трава принадлежала кулаку, дрова принадлежали кулаку, даже птицы, которые летали над его головой, принадлежали ему.

Теперь замок, висевший на его груди, составлял одно целое с ним, он был частью его одежды, его украшением и, следовательно, представлял одно целое с кулаком.

Он вошел в хлев, там овцы сочетались с сеном, телята в телятнике сочетались с навозом, навоз сочетался с постройками, постройки сочетались с кулаком. Они представляли одно целое, следовательно, они были неотделимы от него, как руки и ноги, их можно было только отрезать или отрубить, лошади и коровы составляли одно целое, они были его принадлежностью, частью его тела, его мыслями, частью его са-

мого.

«Я часть своего дома, дом часть меня самого. Дом и я, мы – целое», – думал кулак.

– Мы целое, – мычали коровы.

– Мы целое, – ржали лошади, блеяли бараны, – мы целое, – хрюкали свиньи, лаяли собаки, чирикали птицы.

– Мы целое! Мы целое!

Навоз, собранный в кучу, пел о коровах и удобрении. Он пах молоком и полями, теми частностями, которые в сумме и дают сельское хозяйство. Жирной грудью, всем своим жирным телом, всей кожей и всем носом кулак вдыхал жирный воздух. Жирный запах навоза – самая здоровая волна жизни!

Но и навоз не выделялся, он жил вместе со всем хозяйством, сочетался с хвостами коров и лошадей, с запаханнми полями и огородами.

Но вот кулак исчез. Его не было. И вот показалась его голова: голова без туловища росла из земли, как кочан капусты. Но подойдем ближе и посмотрим. Это была яма, это был погреб в виде подземного хода. Это был склад зерна и масла, мяса и муки. Здесь бочки смеялись смехом средних веков, здесь мясо лежало на льду. О, красный запах мяса, о, коричневый запах зерна!

И бочки говорили, и мясо языком мяса, по крайней мере, так представлялось кулаку, масло в бочках, зерно в мешках и мясо на льду, – все это клялось ему в верности.

– Мы твои.

Они его.

И кулак, довольный, поднимался на землю, сначала голова, потом плечи, потом живот и, наконец, ноги. И вот его двор и его дом жили с ним одной жизнью, дышали одной грудью.

Он – сад, в котором росли постройки, амбары и конюшни, он – огород, в котором цвели козы и лошади, бараны и коровы. Окруженный головами коров, лошадей, быков, коз, как цветами, он шел в дом.

– Всё мое, – говорил он.

Всё его.

Он шел, и двор, и дом шли вместе с ним. Потому что они и он были одно целое.

Он зашел в горницу, здесь росли пальмы и стоял стол. И вот натюрморт стола: самовар, ничего, кроме самовара. Он зашел к себе в спальню, здесь стоял стол и на столе – самовар, ничего, кроме самовара. Самовар – это посуда, самовар – это зеркало, самовар – это украшение, самовар – это портрет хозяина, самовар – это самовар. Но зеркало само по себе. И он подошел к зеркалу и отразился во весь рост. Вот рука, вот нога, вот живот, вот грудь, вот голова, но он един. Не было ни живота, не было ни головы, не было ни рук, ни ног, – был он. И на груди у него замок. Его лицо напоминало его замок, его замок напоминал его лицо. И он не знал, где начинается замок и где кончается лицо. Они слились, как две головы одного и того же орла, как две стороны одной медали.

Он видел себя. Свою голову, свой живот, свои руки и свои ноги.

– Это я, – думал он.

Это он.

А это поп. Но он не просто поп, он вождь. И кто знает, может быть, он себя считает спасителем. Ведь Иисус Христос тоже был спасителем. Отсюда начинается сходство. Иисус Христос тоже был невысок. Иисус Христос тоже был худ. И он тоже носил длинные волосы. Оба они походят на крест. Оба они агитаторы.

Но Иисус Христос, кроме того, был бог, но и поп говорит, что, когда его бьют по правой щеке, он подставляет левую. Он имел двенадцать учеников. И поп имел двенадцать учеников. У него была мать Мария. И у попа была мать Мария. Но Бог не был женат, а поп был женат. Но у Бога не было хозяйства, а у попа есть хозяйство. Потому что Бог был Бог, а поп был поп.

– Нет, я не поп, – говорил поп.

Он не поп.

– А я вождь, – говорил вождь.

И он вождь.

Его дом, двор, сад и огород – не дом, не двор, не сад и не огород, а Святая земля. Быть может, Палестина. Береза в его саду напоминает финиковую пальму, а ива в огороде смоковницу.

Его овцы – овечки в полном смысле этого слова, бараны

– овечки, коровы – овечки, быки – овечки, даже собаки, как овечки, имеют кроткий нрав и кусают очень редко. Никогда не кусают.

Здесь дух решительно преобладает над материей. И материя, опровергая науку и человеческий разум, превращается в дух. В каждой травке – душа, в каждой палочке – душа, даже навоз не похож на навоз, а напоминает душу. Это пейзаж Нестерова. И люди – люди Нестерова. Но больше всего мистики в огороде. Капуста в форме отрубленной головы Иоанна Крестителя. И везде – кресты, кресты... Морковь в виде креста, лук в виде креста, даже репа похожа на круглый крест, хотя круглых крестов и не бывает. Что это – огород или кладбище? Но ведь кладбище есть лучший огород, где мертвецы – удобрение, а кресты – удобные палки для пугал. Здесь овощи похожи на кресты, следовательно, напоминают своего хозяина. Везде видна душа и тишина, точно все ожидали, что вот-вот спустится ангел.

Но спускается не ангел, а жена. Попадья спускается с полатей, как бог или как бочка. И вот дух побежден и снова торжествует материя. Попадья – это громадный зад и две чудовищные груди – ничего, кроме двух грудей и громадного зада. Но и зад умеет держать в руках и распоряжаться. Зад и характер – это проблема, которая еще ждет своего разрешения.

И овцы уже не овечки, а овцы, собаки кусают, как волки, даже ветер уже не ветерок, а ветер, и дождик не дождик,

а дождь. Изменяется решительно всё. И вот пальма уже не пальма, а береза, смоковница не смоковница – ива, овощи не похожи уже на кресты, лук похож на лук, а репа напоминает репу. Меняются даже постройки, и вот дом и амбар сглаживают свои углы и круглеют. Вещи становятся короче. И круг преобладает над квадратом. Столы – круглы, стулья – круглы, ящики – круглы, даже вытянутые лица икон становятся круглее и добродушнее. И вот святые уже не святые, а купцы, Мария уже не Мария, а купчиха.

Готика, угловатый стиль Средневековья, была побеждена округлым стилем буржуазии.

Буржуазия и круг – разве это не синонимы? Воображая буржуя, мы всегда его видим круглым.

И вот уже поп не тот. Уже не Иисус Христос. Не худ, а толст. А главное – кругл. Голова – кругла, живот – кругл, ноги – круглы, руки – круглы. И вместо длинных волос совсем нет волос. Теперь это уже не поп, а кулак. Ряса становится короче. Теперь это уже не ряса, а длинная кулацкая рубаха. И крест круглеет. Теперь это уже не крест, а замок. С замком на груди поп или кулак, и кулак и поп в одном лице, выходит во двор. И двор круглеет. Теперь в его дворе нет частных. Двор и дом, сад и огород – едины. Никто не знает, где кончается сад и где начинается огород, где кончается дом и начинается дом. Где хозяин и где хозяйство. Хозяин и хозяйство слиты воедино. Они неотделимы и неделимы.

– Здесь все принадлежит мне, – говорит поп.

Здесь все принадлежит ему.

– Я поп, – говорит поп.

Он поп.

– И я хозяин, – говорит хозяин.

И он хозяин.

– А вот дворянин, – говорит дворянин.

Он дворянин.

«Я ловлю рыбу», – думает он.

Он ловит рыбку.

«Вот мой дом в лесу, на берегу реки», – думает он.

Вот его домик в лесочке, на берегу речки.

– Нет, это кусты, это листья, это трава, это солнце, это цветы, – говорит он.

Нет, это кустики, это листики, это травка, это солнышко, это цветочки.

«А я старик», – думает он.

А он старичок.

И вот старик и вот старичок встает и идет к себе в домик, к себе в дом, где сидит старуха, где сидит старушка, его мать.

«А я фрейлина, – думает старуха, думает старушка, его мать, – императрицы Марии Федоровны».

Она бывшая фрейлина бывшей императрицы бывшей Марии Федоровны.

– Я готова к исполнению своих обязанностей, – говорит фрейлина. И она готова. Она сидит. Она ждет. Уже столько лет сидит и ждет, когда императрица вернется. Она считает

пальцы на своих руках: – Не вернется, вернется. – На ее руках десять пальцев. – Не вернется, вернется. – Она считает пальцы на своих ногах: – Не вернется, вернется. – На ее ногах десять пальцев. – Не вернется, вернется.

И чтобы не забыть французский язык, она повторяет французский язык! Она показывает пальцем на какую-нибудь вещь, на стол, на стул, на окно, на дверь. И спрашивает себя, как будет стол, как будет стул, как будет окно, как будет дверь. И сама себе отвечает, что стол будет стул, стул будет окно, а окно будет дверь.

– Нет, это не стол, а стул, это не стул, а стол, это не окно, а дверь, это не дверь, а окно, – поправляет ее сын.

– По-русски это, может быть, и стул, – возражает ему мать, – а по-французски это стол.

– Нет, это стул, – спорит сын.

– Нет, это стол, – спорит мать.

– В доказательство, что это стул, – говорит сын, – я могу на него сесть.

И садится.

– В доказательство, что это стол, – говорит мать, – я могу на нем пить чай.

И пьет чай.

– А все-таки это стул, – говорит сын.

– Нет, стол, – говорит мать.

– Нет, стул.

– Нет, стол.

– Стул!

– Стол!

– Стул!

– Я тебе мать, – говорит мать, – и приказываю тебе, что это стол.

– Слушаю, маман, – говорит сын, – но это стул.

– После этого ты, – говорит мать, – мне не сын, а революционер.

– Нет, я вам сын, а не революционер.

– Нет, ты мне не сын, а революционер.

– Почему же я вам не сын, а революционер?

– Потому что до революции это был стол, а ты говоришь, что это стул.

– В таком случае я согласен, – говорит сын. – Это стол. Теперь я сын? – спрашивает сын.

– Теперь ты сын.

«Надо работать», – думает сын. И плетет лапти. Он делает это так, точно играет на фортепиано. И что же, призрак музыки появляется из-под его пальцев и стучит в его голове. Тень музыки носится по комнате. И сын насвистывает песню «Гром победы раздавайся».

«Мне кажется, что я слышу музыку», – думает фрейлина. Ей кажется.

И она мечтает. Вот дворец ее славы, слуги и почести. Достаточно пожелать, и желание исполнится.

И балы, балы, балы...

Но сын прерывает ее мечты.

– Маман, – говорит он, – наши крестьяне организовали колхоз. Ты знаешь, что такое колхоз?

– Такого слова не существует, – говорит мать, – следовательно, они не могли создать того, чего нет. То, чего нет, может создать только Бог.

– Нет, такое слово есть, – говорит сын, – я слышал. И видел.

– Такого слова нет.

– Есть.

– Нету.

– Есть.

– В таком случае принеси мне словарь. Если мы найдем это слово, значит, оно есть. Но его нету.

Сын долго роется в своих книгах, наконец приносит старый пожелтевший словарь на букву «К». И они ищут.

– Кол. Колода. Колпак. Колхоза нет, – говорит мать.

– Нету, – говорит сын.

Но вот он вышел во двор, и что же – это был не двор, а тень двора. Деревья – не деревья, тени. Трава – не трава, тень. Даже река была не река и не речка и не тень реки, а тень речки.

– Везде одни тени, и потому я пойду в дом, – говорит сын. Но вместо дома он находит тень.

«Это ничего, – думает он, – раз есть тень дома, значит, есть и дом».

Но там вместо вещей стоят тени. На столе тень колбасы, на стуле тень матери. Он смотрит на себя, но вместо себя видит тень.

«А где же я?» — думает он.

А где же он?

«Но раз меня нет, — думает он, — то это думаю не я, а думает моя тень».

Но раз его нет, то это думает не он, а думает его тень.

«Но разве тень думает? — думает он. — Тень не думает. Следовательно, я не думаю».

Следовательно, он не думает. И как доказывают теорему, так он доказывает, что его нет.

— Меня нет, — говорит он.

Его нет.

И вот тень сидит на берегу реки и ловит рыбу. На берегу бежит тень реки. На песке растет тень травы. А на траве лежит тень рыбы.

«Кого же я напоминаю?» — думает тень.

Кого же она напоминает?

«Я напоминаю свою тень», — думает тень.

Но у тени нет тени.

«Следовательно, я никого не напоминаю».

Следовательно, она никого не напоминает.

Глава шестая

Веселый ветер весны!

Дул ветер социалистического соревнования.

Утром вышла стенная газета «Голос колхоза». Это был голос еще не вспаханных полей, крик огородов, насмешка садов, голос молодежи и Молодцева, призыв к наступлению.

Тотчас же изба-читальня наполнилась народом, десятки читающих глаз, сотни ушей, приготовившихся слушать. Газета живет. Она принимает вид Михаила Ковригина и громким Мишкиным голосом разговаривает с читателем. Грамотные и малограмотные читают сами, малограмотные стараются обогнать Мишку, прочесть раньше его. Их голоса сливаются с его голосом, и они читают хором:

– Садовница Наталка Курочка вызывает на соревнование птичника Николая Яблоню.

– Им нужно сначала поменяться фамилиями, – предлагает какой-то шутник. – От этого выиграет дело.

Хохот следует за его словами.

– Курочка на яблоне.

– Зачем им менять фамилию, – возражает Петрован серьезным голосом, – им нужно поменяться местами. Где это видано: баба – садовник, мужик – птичница!

– Женить! Женить!

Но вот кто-то невнятным голосом спрашивает, что такое

социалистическое соревнование. Многие спохватились, они тоже не знают. Социалистическое соревнование, что же это такое?

Ковригин объяснил, путаясь и запинаясь, будто отвечая урок.

И вот Наталка Курочка и Николай Яблоня, птичник и садовница, вырастают на глазах у удивленной толпы. Социалистическое соревнование!

И мисс Виандот, американская курица, частица соревнования, распутив хвост, появляется во дворе в виде иллюстрации.

Сегодня ее день. Сегодня день курицы. В газете портрет курицы и надпись: «Красавица Виандот». Куриное интервью начинается так:

«Я, несущая в год 150 яиц и дающая замечательное белое мясо, берусь поднять производительность труда до 200 яиц в год».

Но позвольте представить и остальных.

Вот Орнингтон, английская курица, вот Фавероль, французская курица, вот Род-айленд, американская курица, вот Леггорн, итальянская курица, курицы всех стран, целый интернационал куриц. И во главе петух Орнингтон, оранжевый президент разноперой республики.

Теперь для колхозников соревнование – это дом, который еще предстоит построить, поле, которое еще нужно вспахать.

– Но какой же толк, когда садовница вызывает на сорев-

нование птичника. Садовница садовника, птичница птичника – это другое дело. Нельзя же огурцы делить на яйца.

– Правильно. Правильно. Но это первое начинание: вы уже будете вызывать только товарищей по работе, огородник огородника, кухарка кухарку, пахарь пахаря.

Вызов за вызовом под открытым небом. Соревнование расцветает, как куст. Соревнующиеся бьют друг друга по рукам. Кто кого?

И вот уже соревнующиеся плуги пахут на соревнующихся лошадях, управляемые веселыми руками соревнующихся колхозников. Трактор против трактора, плуг против плуга, поле против поля.

Поля состязаются. Теперь труд напоминает игру. Он стремителен, как погоня, и плодотворен, как труд. Но главное, работа состязющихся людей почти не знает утомления. Утомление появляется только тогда, когда человек занят неприятной работой. Разве игра знает утомление? Но в игре важен выигрыш, остальное ерунда. Всё – чтобы выиграть. Цель оправдывает средство.

Вот два парня, Петр Соловьев и Петр Самоваров, едут в лес по дрова. И они вызывают друг друга на соревнование. Кто больше? Проигравший платит выигравшему. И Петр Соловьев ворует дрова из поленницы Петра Самоварова и кладет в свою, а Петр Самоваров из поленницы Петра Соловьева.

Петр Соловьев поймал на месте преступления Петра Са-

моварова, а Петр Самоваров Петра Соловьева. Два Петра, как два врага, стоят друг против друга. Друзья или враги? И враги, и друзья. Ругань, как пар, поднимается к небу. Но вот, отяжелев, она спускается на их спины и головы ударами кулаков, ударами палок. Удар за удар. Соревнование кулаков. Малыши собираются посмотреть – кто кого, Петр ли Соловьев Петра Самоварова или Петр Самоваров Петра Соловьева?

И два Петра валяются на земле, как два полена. И как дрова, их заносят в дом.

– Где доктор?

Вот доктор. Через две недели они смогут работать.

И многие поняли соревнование, как Петр Соловьев и Петр Самоваров. Они портят друг у друга плуги, ломают бороны, делают все, чтобы «он» проиграл, а «я» выиграл, «я» проиграл, а «он» выиграл. Вода на мельницу кулаков. И социалистическое соревнование принимает вид вредительства. Социалистическое соревнование по-кулацки! Раздаются голоса против социалистического соревнования. И вот один мощный голос голосом всех кричит:

– Долой социалистическое соревнование, воду на мельницу кулаков! Спасем колхоз от полного развала.

Ячейка партии и комсомола спохватилась.

Но это бывает: когда лучшее, революционное начинание в руках врагов, бюрократов или несознательных товарищей превращается в орудие контрреволюции.

Еще не поздно исправить ошибку. Товарищи Молодцев, Оседлова, Спиридонов, Ковригин берут это на себя. Им поручает это бюро ячейки.

Они объясняют непонимающим, вдалбливают нежелающим понять и заставляют слушать нежелающих слушать.

— Ведь социалистическое соревнование вовсе не игра. Оно существует для пользы всех, значит, для пользы одного. Помогать отстающим, а не ломать орудия труда! Победивший, выполнивший работу раньше и лучше других, победил и выполнил работу раньше и лучше других не для себя, а для других. Лучшей наградой лучшим работникам будет сознание того, что они сделали работу лучше других. Итак, теперь все знают, что такое социалистическое соревнование и для чего оно существует?

— Все.

И с этого дня начинается работа с большой «Р», работа работающих работников, организованная работа людей, строящих социализм. Теперь соревнуются все. Старики вызывают молодежь. И вот утро открывает ворота колхоза, и веселая процессия плугов и машин — плуг за плугом, машина за машиной — выезжает на торжественную улицу. Здесь лошади соревнуются с трактором. И в поле старики отличаются от молодежи только бородами. Они нигде не отстают, и вот они перегоняют. На одном конце поля пашут молодые, впереди двухкорпусной плуг и синее рубашкой Мотыка Муравьев, за ним парные и однолемешные плуги остальных; на другом

конце поля – старики, впереди двухкорпусной плуг старика Муравьева, за ним парные и однолемешные остальных. Отец состязается с сыном. Вот где «борьба» отцов и детей приобретает новые формы и ее результат – повышение производительности труда.

И на основе социалистического соревнования расцветают новые формы работы. Работа начинается как праздник, как «вечер» или, как бой, под музыку, под стук барабанов. Песня, как знамя, развевается над работающими. И лошади пахут, подняв голову, перебирая ноги, как на параде или на войне. Плуги двигаются, как пулеметы, орудия наступления на природу. В центре маленькая палатка. Это штаб. Здесь Молодцев и Оседлова, Ковригин и Жеребцов и почему-то Петрован Рыжий. Петрован суетится больше всех, он бегаёт по полю, как ноги, останавливает лошадей, отдает немислимыя приказания. Но изобретательность и спутник изобретательности остроумие часто приходят с той стороны, откуда их меньше всего ждут. И не кто другой, как Петрован предлагает:

– Отстающих и ленивых посылать туда, где легче.

И вот он уже кричит:

– Однообразие – союзник буржуазии и враг всякой работы. Долой однообразие!

– Долой однообразие! – подхватывают все.

И вот, кто утром пахал, днем боронит, а кто боронил днем, вечером пашет.

Наступает обеденный перерыв, обед в сопровождении отдыха. Суп приезжает на лошадях, в жестяных банках, молоко в белых бутылках, белое молоко и большие караваи круглого хлеба.

– Круглый год круглый хлеб, – шутят со всех сторон и спрашивают: – А где же печенье?

И конечно, картофель, овощ из овощей, пища мускулов и ума, союзник всякой работы. Суп, заедаемый хлебом, и картофель, запиваемый молоком, – сегодняшней обед колхозников. Аппетит колхозников соответствует их работе. В здоровом теле здоровый аппетит. Спокойствие и лень, спутники пищеварения, появляются после обеда. Люди наполняются кровью, как желудки пищей. Усталость улетает вместе с ленью. Веселые разговоры оживляют отдых. Сегодня Прохоров мишень для насмешек, каждый старается попасть в него. Но шутки не достигают до этого старика.

– Прохоров, чтобы не отстать, кобыле под хвост икону повесил. Правда, Прохоров?

– Правда.

Работа начата. Перерыв окончен. Она двигается, как шар, – мускулы лошадей и мускулы людей сочетаются с железом плугов. Кажется, что один огромный человек пашет на одной огромной лошади. Один мускул, одна работа.

И в результате распаханная земля от горизонта до горизонта, одно черное распаханное поле, земля, завоеванная работой.

Социалистическая работа – это удар, это оружие, это метод, которому завидуют кулаки и подкулачники. Но они не показывают вида и встречают насмешкой, употребляют там, где не надо.

И три молодых кулака вызывают друг друга на соревнование. На столе три огромные бутылки, три четверти самогона, за столом три человека – четверть против человека. Вот состязание начинается, и вот его результат: на столе три опорожненные бутылки, на полу два человека, а третий, открыв дверь избы и широко расставив ноги, мочится во двор.

Глава седьмая

Быт поворачивается, как бык. Но они берут его за рога и поворачивают в нужную для них сторону. Он упирается, но они его поворачивают. И вот где раньше был хвост, теперь голова, а где раньше была голова, теперь хвост. Головой – к ним, хвостом – к кулакам, быт стоит вместе с ними, быт идет вместе с ними. С их словами, с их делами, и подчиняется, правда еще не совсем, их желаниям. И вот он двигается, как их работа, вместе с их работой. И вот он уже не бык. Он человек. Быт с большой «Б», их быт, наш быт. Быт социалистического соревнования, потому что соревнование постепенно, как оно проникало в труд, проникает в быт.

Они встают все в одно время – позор проспавшим! – умываются – кто лучше, кто чище! – и идут на работу – кто быстрее, все вовремя! Они приходят на работу – позор опоздавшим! – и работают – кто догоняет, кто перегоняет, кто отстаёт! – так работают они. Не так, как жили прежде. И люди не те, и вещи не те, другие люди и вещи.

Вот новые вещи, предметы нового обихода. Они появляются не все вместе, а постепенно, одна за другой, вперед более необходимые, потом менее необходимые. Но все они появляются потому, что все они необходимы. И появление каждой вещи имеет свою историю, почти всегда смешную. Понемногу эти истории заменяют сказки. Они рассказыва-

ются у вечернего костра «старыми» колхозниками «молодым» колхозникам. И постепенно они становятся достоянием единоличников. Вот история зубной щетки, рассказанная мне в поле Мотькой Муравьевым. Он рассказывал мне, управляя плугом, и я не только услышал, но прошел эту историю вместе с Мотькой за его плугом и пегой лошадей. Я прошел ее, и она смешалась для меня с запаханной землей, она была запахана Мотькой Муравьевым, и, может быть, поэтому я ее и запомнил.

– Сейчас я расскажу, почему кулаки так не любят зубную щетку, – начал Мотька Муравьев, он уходил от меня, уменьшаясь. Я шел за ним, догоняя его слова и слушая, как шевелится земля под его плугом. – История эта начинается с того времени, когда приехал товарищ Молодцев. По утрам он выходил на крыльцо чистить свои зубы. Он чистил, посмеиваясь, отвечая на вопросы и отдавая распоряжения. И все удивленно смотрели на щетку. В то время у нас не только никто еще не чистил зубы, но и не имел представления о зубной щетке. У Молодцева никогда не было свободного времени. С утра он был занят делами колхоза, и так весь день. Даже когда умывался. Он умывался работая, причесывался работая, чистил зубы работая. Он давал указания, размахивая зубной щеткой. И однажды он произнес целую речь, чистя зубы.

– Для чего у него эта щетка? – спрашивали менее осведомленные.

– Как для чего, – отвечали более осведомленные, – для

того, чтобы чистить зубы.

— А для чего их чистить? — спрашивали менее осведомленные.

— Это уже мы не знаем, — отвечали более осведомленные.

Но неудовлетворенное любопытство растет, как растение. Они продолжали спрашивать. И многие, чтобы показать, что они знают, отвечали. Одни: чтобы лучше говорить. Другие: чтобы не устал рот. Третьи: так просто. Четвертые: для здоровья. Пятые: чтобы зубы были белее.

Но ни один ответ не мог удовлетворить любопытных. Спросить самого Молодцева? Неудобно. Да он и не скажет правду: «Производственная тайна». Однажды кулак, сам Петухов, пришел утром к Молодцеву, когда тот чистил зубы.

— Наше вашим, — сказал кулак и сделал вид, что хочет снять шапку.

— Мм... гм... гм, — отвечает ему товарищ Молодцев, не вынимая изо рта щетку.

— Ваш брат, — закричал вдруг кулак, — обирает нашего брата.

— Мм... гм, — ответил ему товарищ Молодцев, не вынимая изо рта щетку.

Кулак вдруг снял шапку.

— Ваш брат, — сказал он, — забрал у нашего брата покос. Я насчет покоса.

— Мм... гм, — ответил товарищ Молодцев, не вынимая изо рта щетку.

– Так как же насчет покоса, какое ваше распоряжение будет?

– Мм... гм, – ответил товарищ Молодцев, не вынимая щетку.

– Тогда я пойду, – сказал вдруг кулак, – оставайтесь здоровы.

– И вам также, – сказал товарищ Молодцев, вынув щетку, – доброго здоровья, – и вдруг захохотал всеми своими белыми зубами, всем лицом, всем своим огромным телом. Кулак рассвирепел и с поднятыми кулаками полез на товарища Молодцева. Он надвигался, топая, словно отплясывая присядку, вертя ногами и головой, весь расстегнутый, с растянутым ртом и глазами, вылезшими на лоб, вот так, с глазами, похожими на рога, с красным носом и красной бородой, в синей рубаше, вот с такими кулаками.

– Надо мной смеетесь? – крикнул кулак, подступая. Собралась толпа.

– Над вами.

– А имеете ли вы на это право? – спросил кулак, подступая ближе.

– Имею, – отвечал товарищ Молодцев.

– А где это право? – спросил кулак, надвигаясь на Молодцева.

– Вот, – сказал Молодцев.

– Где? – переспросил кулак.

– Да вот, – сказал товарищ Молодцев, – вот, – и показал

на зубную щетку.

Кулак открыл рот, удивленный рот, как ведро, как никогда не открывал, и так стоял с раскрытым ртом, лениво помахивая кулаками, как бык, похожий на быка больше, чем бык. Бык с бородой и двумя кулаками. «Надо мной смеется», – сообразил кулак и бросился на Молодцева.

– Одну минуту, – остановил его Молодцев с видом осматривающего ветеринара, – постойте, разве так можно, – и с сожалеющим видом заглянул кулаку в рот.

– Что такое? – растерянно остановился кулак. И вдруг испугался, и вдруг побледнел. – Что такое?

– Никуда не годится, – ответил товарищ Молодцев и, обмакнув зубную щетку в порошок, затолкал ее кулаку в рот и стал неистово чистить ему зубы.

– Вот так, вот так, – приговаривал он и чистил. А кулак стоял, опупев, руки по швам, выпятив живот. И тогда толпа захохотала, как один рот. Это был неистовый хохот. Колхозники катались от хохота по земле, казалось, по земле катился сам хохот. Казалось, хохотала трава, смеялись постройки, хохотала сама земля ртом, широким, как небо. И смех необъятный, как небо, широкий смех колхозников упал на голову кулаку Петухову и придавил его к земле. Он бежал, позабыв вытащить изо рта щетку, держа щетку, как собака, он бежал подобно собаке, измазанной зубным порошком.

Так наши колхозники заинтересовались зубной щеткой. И когда Мишка Ковригин, наш завхоз, вернулся из города, он

привез с собой целый воз зубных щеток.

С тех пор весь колхоз начал чистить себе зубы. Два раза в день: утром перед работой и вечером после работы. Желание чистить зубы распространялось быстро, как холера. Уже чистили не только колхозники, но и единоличники-середняки. Уже чистили все, кроме кулаков.

Только кулаки бойкотировали зубную щетку. Однажды тот самый кулак, желая нам отомстить и посмеяться, вывел своего жеребца на улицу возле конторы колхоза и, вытащив огромную зубную щетку, начал чистить коню зубы. Собралась большая толпа единоличников и колхозников, молчаливая толпа, немного озлобленная, знавшая, что шутка кулака направлена на ее счет. Толпа молчала. А кулак, посмеиваясь, чистил огромные зубы молчаливого жеребца. Но тут один нашелся. Это был Чашкин, молодой наш комсомолец. Чашкин захохотал и сказал громко, чтобы его могли слышать все:

– Кулак чистит зубы жеребцу. Видно, он забыл, как ему чистил зубы товарищ Молодцев.

Толпа захохотала всеми ртами. Смех упал на кулака и снова придавил его к земле. Кулак взобрался на жеребца. Он носился на коне посредине толпы и махал щеткой, как лермонтовский Казбич шашкой. Так окончилась шутка кулака. Кулак посмеялся над самим собой.

Я не поверил в историю, рассказанную мне Мотькой Муравьевым, и сказал об этом Муравьеву. Тот обиделся, ответив:

– Если не веришь, спроси у любого колхозника. Весь колхоз подтвердит это. А колхоз не может врать.

– Не может, – сказал я и пошел с поля.

Я шел с поля и думал об истории зубной щетки. Но в колхозе много новых вещей. И по всей вероятности, многие из них имеют свои интересные истории.

Великая война новых вещей со старыми имеет немало легенд.

Я вхожу во двор колхоза, во дворе висят большие часы; они имеют свою историю, нужно будет ее узнать. Громкоговоритель имеет свою историю... Но зачем мне легенды, когда я могу быть свидетелем борьбы новых предметов со старыми.

В это время на площадку прилетает футбольный мяч, и две команды, одна в синих, другая в красных трусиках, команда единоличников и команда колхозников, выбегают на площадку – играть. Игра начинается звуком свистка и ударами ног. Мяч летит, рассказывая свою историю, короткую и стремительную, как его полет. Вот история футбольного мяча в колхозе.

– Я мяч, – сказал мне мяч, – меня привезли из города. Я упал среди колхозных ребятишек и высоко подпрыгнул, упал и подпрыгнул. Ребятишки не знали, что со мной делать. Один, осторожный, со сконфуженным видом взял меня не в руки, а на руки и сказал:

– Что нам с ним делать? Жаль, что его не едят.

Кто-то предложил играть мною в лапту. Меня ударили длинной палкой, но я не полетел, а упал к их ногам, как каравай хлеба. Меня побросали, вымазали грязью и сменяли с детьми единоличников на обыкновенный мячик, которым можно играть в лапту. Дети единоличников потрогали меня. Один, осторожный, со сконфуженным видом взял меня не в руки, а на руки. Подержал и сказал:

– Что нам с ним делать? Жаль, что его не едят.

Другой сказал, что я как арбуз, но полегче. Кто-то предложил играть мною в лапту. Меня ударили длинной палкой, но я не полетел, а упал к их ногам, как каравай хлеба. Дети единоличников разозлились. «Какие плуты, – подумали они, – а еще колхозные ребята. Надули хуже всяких кулаков». И парнишка – тот, что был в сапогах, – пнул меня ногой. Я только того и ждал и поднялся высоко, выше кулацких крыш, и прилетел к колхозным ребятишкам, там меня пнул парнишка, который тоже был в сапогах, и я полетел обратно к детям единоличников. Там меня пнули, я полетел сюда. Здесь пнули, туда. Короче говоря, началась игра. Сначала она была неорганизованной, меня пинал кто хотел, не заботясь, куда я полечу, и меня брали руками. Потом стихийно стали создаваться правила: руками не брать, вести в сторону врага. Сами собой создались две партии, двое ворот, два вратаря с той и с другой стороны, защита и нападение, и та игра, которую создали деревенские ребята, никогда не издававшие, как играют в футбол, совпала с игрой в футбол. Те же прави-

ла, те же удары. Только штрафные отличались от городской игры. И участника, сделавшего какую-либо неправильность, просто-напросто выгоняли из игры. И самобытная игра деревенских ребят понравилась мне больше, чем игра городских. Игра как игра, удары как удары. И когда товарищ Молодцев освободился от работы и вышел на площадку, чтобы научить их игре, они уже играли сами и не хуже его.

– Откуда вы умеете? – спросил он.

– Как откуда? – сказали они. – Мы научились.

– А кто вас научил?

– Сами.

– Но ведь вы никогда не видели, как играют.

– Что ж из этого. Мы ее придумали сами. И вот играем.

С тех пор я и товарищ Молодцев, мы не перестаем удивляться изобретательности колхозных ребяташек.

Впрочем, эту историю рассказал мне не мяч, а городской пионер, Вася Болотов, приехавший в колхоз еще задолго до меня для пионерработы. Он рассказывал наивным и фальшивым языком плохих детских книг. Но это была правда. А правда остается правдой даже тогда, когда ее плохо рассказывают.

И постепенно предметы физкультуры проникали в колхоз один за другим, постепенно, но непрерывно, как и новые вещи домашнего обихода. И они изменяли быт, вернее, помогали колхозникам изменять быт. Одна какая-нибудь вещь непременно тащила за собой другую. И вещи изменяли че-

ловека, как человек изменял вещи. Часы приучали его чувствовать время, вовремя приходить на работу и вовремя уходить. Человек, надев на руку часы, стал человеком с большой «Ч» и впервые узнал, что время – это ценность, которой нужно дорожить. И он уже распределял свое время, и если опаздывал на работу или уходил раньше, то, взглянув на часы, чувствовал угрызение совести: он обокрал коллектив, своих товарищей и себя самого. Часы помогали изменять человека и измерять время.

Рубашки городского покроя, сорочки, приучали человека к чистоте и аккуратности, и колхозник, прежде чем надеть сорочку, бежал к умывальнику – мыть шею. Книги приучают его читать книги и учиться. А кино расширяет кругозор, воспитывает вкус и заражает революционным энтузиазмом. Кино заменяет вино. Человек должен помнить, что не только он меняет, создает и изменяет вещи, но вещи изменяют, а иногда и «создают» человека. Вещь и человек – это проблема, которая еще не затронута ни одним писателем. Подсмотреть, почувствовать и описать, как вещь изменяет человека, – вот задача задач. И со временем я разрешу ее. Со временем! А пока, пока я только смотрю всеми глазами во все глаза, всеми своими ушами.

Но лучше всего новую вещь чувствует ребенок, дети – друзья вещей. И когда они ломают какую-нибудь вещь, они никогда не ломают из злобы или просто по глупости, как ломают вещи взрослые люди. Ребенок ломает вещь, чтобы ее

познать.

Вот пионер приходит ко мне и приглашает меня к ним. Сегодня они – дети колхоза – устраивают праздник новой вещи.

Веселая пионерка голосом маленькой Жанны делает доклад. Она щебечет, как птичка, когда рассказывает о победах новых вещей. Но часто ее голосок становится похожим на знамя, она хмурится и грозит маленьким кулачком старым вещам, еще оказывающим сопротивление, агентам кулака – старым вещам.

Выступают ребяташки. Маленькие ораторы – они рассказывают об иконах, о глиняных горшках, лаптях, тараканах, самогонке, табаче, о тех старых вещах, которые еще сидят крепко, крепче кулаков, и не хотят уходить, не хотят уступить своих мест новым полезным вещам.

Они делятся воспоминаниями о новых вещах, вещах-пионерах, раньше других появившихся в колхозе.

Носовой платок! И они рассказывают смешную историю носового платка. Вспоминают, кто первый им начал пользоваться, кто не хотел, кто употреблял выданные платки вместо портянок. Они, смеясь, выталкивают вперед Федьку Пустырева, активного врага носовых платков и приверженца двух пальцев.

Вот пионеры устраивают похороны. Хоронят старые вещи. Они приносят бутылки из-под вина, старую посуду, все вещи, вышедшие или выходящие из домашнего обихода. Но

как хоронить, по-новому или по-старому?

– По-старому. Старые вещи нужно по-старому и хоронить.

– Они верующие, – шутит кто-то. – Нужно пригласить по-па.

И вот пионер с козлиной бородой, приклеенной к молодому подбородку, в рясе попа и с паникадилом выходит во двор. Толпа мальчиков несет деревянный гроб. Они идут прямо. Девочки голоса и причитают. Мальчишки, как взрослые, идут, склонив головы и смахивая рукавами воображаемые слезы. Они проходят мимо церкви, мимо поповской усадьбы, и поп, услышав свой голос и свои слова, удивленно смотрит в окно. Так хоронят они старые вещи.

Глава восьмая

Вот Тайная вечеря.

На месте Иисуса Христа – поп. На месте двенадцати учеников – двенадцать его учеников. Каждый на своем месте. Все, кроме Иуды. Эта Тайная вечеря построена на опыте Тайной вечери Иисуса Христа, и потому здесь нет Иуды. На месте Иуды сидит сын попа. Маленькая разница, делающая попа похожим одновременно на Иисуса Христа и на Бога Отца, не так существенна!

Эта Тайная вечеря устроена по образу и подобию Тайной вечери Иисуса Христа и Леонардо да Винчи. Все художники, изображавшие Тайную вечерю до Леонардо и после Леонардо, отброшены. И за основу взят Леонардо. Так угодно попу, следовательно, так угодно Богу. Всё, как у Леонардо, – длинный стол. Учитель сидит на том месте, а не на другом. Ученики сидят так-то и так-то, а не так-то и так-то. Стена такая-то и такая-то, а не такая-то и такая-то. Лица всех такие-то, а не другие. Предметы такие, пища такая, а не другая. И на всем вместо пыли лежит святость. Святость, как бороды, растет из их лиц. Святость заменяет стены и воздух. Все дышат святостью, смеются святостью. Только скамьи остаются скамьями, потому что святость существует вовсе не для того, чтобы на ней сидели. И поп, как Иисус Христос, конечно, творит чудеса. Он приносит ведро воды, разливает ее в чашки. Все

пьют, и что же – вода оказывается не вода, а водка.

– Как же вы сделали такой фокус? – спрашивают ученики. – Мы и в цирке этого не видели.

– Очень просто, – скромно говорит поп, – всякий школьник может сделать то ж. Достаточно знать грамоте. Чем вода отличается от водки? Водка отличается от воды тем, что в водке есть буква «ка», а в воде нет буквы «ка». Добавьте к воде букву «ка», и получится водка. Но, конечно, кроме этого нужна и святость. Святыми руками можно сделать всё.

И все смотрят на свои руки: святые ли?

Но вот говорит сын, он упрекает отца:

– На Тайной вечере не было этого чуда. Оно было совершено Иисусом Христом на Кане Галилейской. Нужно быть точным и придерживаться того, что было на Тайной вечере. Не пить водку, а пить воду.

Но все обрушиваются на него. Петр говорит:

– Какой же вечер без водки.

– Водка определяет вечер, – подсказывает Лука. Он интеллигентен и потому говорит так.

Симон стучит кулаком.

– Не пьешь сам, – кричит он, – так не мешай другим. Здесь тебе не партячейка.

«Но нет худа без добра, – думает сын попа, – пусть пьют водку. Напьются и будут лежать. Где же видано, чтобы древние иудеи сидели за столом. Они лежали. Нужна историческая точность».

Между тем историческая точность осуществляется. Вечер и темнота – союзники всякой иллюзии. Недаром романтики любили описывать и писать вечер. Вечером и в темноте можно увидеть все, что захочешь. Вечером и в темноте можно принять ель за озеро, море за курицу, птицу за попа, попа за Иисуса Христа, а двенадцать кулаков за двенадцать его учеников.

Но Иисус Христос неизвестно существовал или не существовал. Скорее всего, не существовал. А поп существует. Он – вот. Следовательно, он достовернее, чем Иисус Христос. А двенадцать кулаков – они вот. Они хотят называться апостолами и пусть называются апостолами. Автор – как бог. Он может сделать все, что захочет, и не сделать ничего. Но за него делает темнота. Она закрывает то, что нужно закрыть, и показывает то, что нужно показать. Кулацкие рубахи превращаются в иудейские хитоны, лица кулаков в лица апостолов. А поп давно похож на Христа, он даже днем похож на Христа, следовательно, темноте нужно только не мешать, и Иисус Христос будет Иисусом Христом, и темнота не мешает.

Темнота заменяет Леонардо. Она действует, как Леонардо. Кажется, что Леонардо и темнота, да простят мне читатели, это одно лицо. Леонардо – это темнота. Темнота – это Леонардо.

Вот поп ломает хлеб своими руками, как Иисус Христос, руками Иисуса Христа. Вот он молится, как молился Иисус

Христос, и говорит, как говорил бы Иисус Христос, если бы он говорил.

Но его прерывает апостол Петр.

– Прихожу я к себе домой, – говорит Петр Петухов, – и вижу, дом открыт. Амбары открыты, лошади и коровы открыты, овцы и свиньи открыты. Казалось, что открыт был воздух в моем дворе, открыты деревья в моем саду, трава на земле, птицы в воздухе. «Я кулак, – подумал я, – или я уже не кулак?» Я вошел в дом, и дом меня встретил молчанием. В моем доме не было целого, были частности. Печка отдельно от стены и полувисит, как пальто гостя. Стол уже не прибит к полу, а стоит отдельно, как проданный. Стулья уже не растут из полу, как деревья, сундуки уже не вбиты в стены, а напоминают птицу, которая вот-вот улетит. Предметы на столе – самовар, чашки, ложки – уже не составляют одно целое со столом. Иконы висят отдельно от стены. Даже сор лежал не на полу, а как-то отдельно от пола, точно он не лежал, а летал. И, войдя в дом и сев на стул, я не стал частью дома, как бревно частью стены. Я не слился с окружающими меня предметами. Я налил себе в стакан чаю и при этом подумал. «Я пью не чай», – подумал я. Потом я вышел на двор, и что же – двор представлял уже не одно целое, амбары больше не соединялись с заборами, заборы с садом, сад с домом, дом с воротами, ворота с хлевом и конюшней, конюшня с амбарами. И все это стояло не на моей земле, принадлежало не мне. Трава принадлежала не мне. Дрова принадлежали

не мне, даже птицы, которые летели над моей головой, принадлежали не мне. Я вошел в хлев, там овцы уже не сочетались с сеном, телята в телятнике не сочетались с навозом, навоз не сочетался с постройками, постройки не сочетались со мной. Они представляли уже не одно целое со мной, они были уже не как руки и ноги, а отделимы, как костыли, их не нужно было отрубать или резать, их можно было снять с меня, как сапоги. Лошади и коровы уже не составляли одно целое, они уже не были принадлежностью, частью моего тела, моими мыслями, частью меня самого. «Дом и я, мы живем отдельно», – подумал я. «Мы живем отдельно», – мычали коровы. «Мы живем отдельно», – ржали лошади, блеяли бараны. «Мы живем отдельно», – хрюкали свиньи, лаяли собаки, чирикали птицы. «Мы отдельно. Мы отдельно». И вот двор и вот огород не живет со мной одной жизнью, не дышит одной грудью. Я уже не сад, в котором растут постройки, амбары и конюшни, я уже не огород, в котором цветут козы и лошади, бараны и коровы. Все уже не мое, думаю я. Я иду, и двор, и дом уже не идут вместе со мной. Потому что я, двор и дом уже не одно целое. Я подхожу к зеркалу и отражаюсь во весь рост. Вот нога, вот рука, вот живот, вот голова, но я уже не един. Меня уже нет. Есть туловище, есть руки, есть ноги, есть голова, есть живот. Живот отдельно от головы, голова отдельно от рук, руки отдельно от ног. Все они живут самостоятельной жизнью. Я уже вижу не себя, а свою голову, свой живот, свои руки и свои ноги. А может быть, они уже

не мои. Не моя голова, не мой живот, не мои руки, не мои ноги. «Это не я, — думаю я. — Я не я».

— В таком случае и я не я! — воскликнул апостол Лука, тот самый кулак Луки.

— И я не я! — воскликнул третий кулак.

— Мы не мы, — сказали кулаки.

— Да, вы не вы, — подтвердил поп, — а вот я есть я.

— Если мы не мы, — сказали кулаки, — то и вы не вы.

— Нет, я есть я.

— Как же так?

— Очень просто. Я как Иисус Христос. Я как Иисус Христос, — говорит поп, — мы за социализм.

— Но социализм есть коммунизм, — спрашивают его ученики, — следовательно, вы за коммунизм?

— Да, я за коммунизм, — говорит поп. — Иисус Христос тоже был за коммунизм.

— Вы что-то путаете, — говорят двенадцать кулаков, двенадцать его учеников, — если Иисус Христос был бы за коммунизм, значит, мы были бы против Иисуса Христа. Но мы за Иисуса Христа, следовательно, он не за коммунизм.

— Коммунизм коммунизму рознь, — говорит поп. — Есть коммунизм христианский и есть коммунизм антихристианский. Теперь коммуны и колхозы, а раньше монастыри. Какая между ними разница? А разница между ними та, что монастыри были угодны Богу, а коммуны не угодны Богу. Вот какая между ними разница.

– Вы подробнее, батя, – говорят двенадцать учеников. – Чтобы было понятнее, батя.

– И сказано, – говорит поп, – что явится Антихрист и будет он подобен Богу нашему Иисусу Христу. И что же мы видим? Действия Антихриста подобны действию Христа. Последователи Христа создавали монастыри, последователи антихриста создают колхозы. И те и другие построены на одинаковых экономических устоях. Но какая разница между ними, это вам самим известно. Последователи Христа создавали храмы, последователи антихриста создают клубы. Последователи Христа собирали вокруг себя верующих, последователи антихриста собирают вокруг себя неверующих.

– Но я слежу за мировыми событиями внимательными глазами, – говорит Лука, – я читаю газеты. И что же я вижу? Я не знаю, кому подражают коммунисты, но я вижу, кому подражают фашисты. Фашисты подражают коммунистам. Они организуют ячейки по образу и подобию коммунистов. Вся их борьба направлена против коммунистов и рабочих, но организационная система у них такая же, как у коммунистов. Разрешите мои сомнения, святой отец, ответьте на мой вопрос: кто же фашисты, последователи ли они антихриста или христиане, как и мы?

– Я тебе отвечу, сын мой, – говорит поп. – Лучше всего бороться с врагом оружием врага. Фашисты, то есть христиане, борются с антихристом и его идеями его же методом, взяв за основу его организационный принцип. Поняли, бра-

тъя мои?

– Поняли, – ответили двенадцать кулаков, как один кулак.

– Следовательно, и нам так же нужно бороться? – спрашивают кулаки.

– И нам нужно бороться их же оружием. Они организовали колхоз. И мы организуем колхоз. Но их колхоз негоден богу. А наш колхоз будет угоден богу. Он будет как монастырь. То есть официально он будет колхоз, а неофициально монастырь.

– Вот тоже выдумал, – говорят двенадцать кулаков, – кто захочет быть монахом? Тащи назад.

– Мы не монахи, – говорят кулаки.

– А кто же вы? – спрашивает поп.

– Мы кулаки, – говорят кулаки.

Только сын попа сидит и молчит, потому что молчание – это знак согласия. «Вы кулаки, – думает он, – какие же вы апостолы. И Тайная вечеря – не Тайная вечеря, а кулацкое собрание».

И в самом деле это кулацкое собрание. Водка стоит на столе в форме графина и в форме бутылок. Но самогон, тот проще, он стоит в форме ведра. Кулацкая закуска – это не пища ума и здоровья, это не пища работы, это пища хитрости и удовольствия, и прежде всего спутник вина, проводник водки. И вот на столе лежит свинина, ничего, кроме свинины. Свинина в виде колбасы; свинина в виде сосисок, свинина в виде окорока, свинина в виде свинины. И наконец, поросе-

нок с хреном. Высшее достижение и самый высокий символ. Поросенок с хреном – это еще не выкованный герб – герб, который носит каждый кулак в своем сердце, как в своем желудке. И никому никогда не показывает.

«Свинина, – с тоской думает сын попа, – это ли пища Иисуса Христа и его апостолов?»

– Свинина, – говорит поп, – это истинная пища истинных христиан. Заметьте, ни иудеи, ни магометане не едят свинины. Почти то же самое можно сказать про наших бедняков и батраков.

– Они не едят потому, что у них нету, – говорит Лука.

– Это неважно, почему они не едят. Факт тот, что они не едят. Следовательно, они наши враги.

– Но коммунисты едят. У меня жил один инструктор из города. Так прежде всего: нет ли у вас свинины?

– Исключение только подтверждает правило.

– Не лукавь, – говорит Лука.

– Я не Лука, чтобы лукавить, – насмешливо отвечает поп.

«Это ли острота, – с тоской думает сын, – бога нашего Иисуса Христа? Не похож. Совсем не похож. Как могло мне взбрести в голову, что похож».

Но вот в разговор вмешиваются самогон и водка. И разговор принимает другой характер.

– Мы начали с антихриста, – говорит Лука, – а кончили свининой. Не лучше ли нам снова вернуться к антихристу?

– К антихристу! К антихристу! – крикнули двенадцать ку-

лаков.

– Повторите, если вам не трудно, определение антихриста, – просит Лука.

– С большим удовольствием, – говорит поп, – антихрист – это копия Христа, обратная сторона медали. Внешне он во всем похож на Христа, внутренне он ему противоположен.

– А лицом он похож на Христа? – спрашивает Лука.

– Как копия. Как портрет. Как Иисус Христос на Иисуса Христа. Как вы на самого себя.

– Странно, странно, – говорит Лука, – а не кажется ли вам, что вы смахиваете немножко на Иисуса Христа?

– Да, немножко похож, – с гордостью говорит поп, немножко конфузясь.

– Как Иисус Христос на Иисуса Христа, – говорит Лука. – Как на Христа антихрист. Скажите, пожалуйста, не вы ли будете антихрист?

– Нет, я не антихрист.

– Нет, вы антихрист.

– Мы не мы, сказали вы, – говорит Петр Петухов, – а вот вы есть вы, сказали вы. Но и вы не вы. Вы – антихрист.

– Нет, я не антихрист.

– Нет, ты антихрист! – кричит кулак Петр Петухов и ударяет кулаком об стол, так что стол разлетается на две половинки, на левую и на правую, часть свинины и бутылок падает на левую сторону, а часть свинины и бутылок на правую.

– Нет, я не антихрист, – говорит поп, – я это могу доказать.

– Докажи, не сходя с места, – говорят двенадцать кулаков, не сходя с места.

Поп подумал, подумал и сказал:

– Антихрист есть антихрист. А поп есть поп. Я спрашиваю у вас: я поп? – спрашивает поп.

– Ты поп, – отвечают двенадцать учеников.

– Следовательно, я не антихрист.

– Это доказательство отнюдь не геометрическое, – с ученым видом говорит Лука, – короче говоря, это не доказательство. Ты антихрист.

– Ты антихрист, – подтверждает Петр Петухов.

– Он антихрист, – подтверждают остальные.

– Кроме того, – возражает поп, – предсказано, что антихрист будет высок, а я не высок.

– Где же это сказано? – спрашивает Лука.

– Там, в одной книге. Вы ее не знаете.

– Раз я говорю, что ты антихрист, – говорит Петр Петухов, – то значит, ты антихрист. А то будет плохо.

– Скажи, что ты антихрист, ну скажи, что тебе стоит, – уговаривал один кулак.

– Ну, я антихрист, – говорит поп.

– Ах, ты антихрист, – кричит Петр Петухов, – бей антихриста!

И бьет антихриста.

«Что же это такое, – думает сын попа, – где же историческая точность?»

И кричит:

– Где же историческая точность? На Тайной вечере совсем не было этого!

– Бей антихриста! – кричат двенадцать кулаков и бьют по-па.

– Это не по правилу, – вмешивается сын попа, – нужно соблюдать историческую точность.

– Хватит, – говорит один кулак. – Хорошего понемножку.

– Хорошего понемножку, – соглашаются остальные. И перестают бить.

Поп сидит, опустив глаза вниз, слезы капают ему на грудь. Он плачет.

– Прости, батя, – говорит Лука.

– Мы больше не будем, – говорят остальные.

– Бог простит, – говорит поп.

– Мы пошутили, – говорят кулаки.

Они пошутили.

Глава девятая

Товарищ Молодцев – это не просто две руки и одна голова, это голова Молодцева, это руки Молодцева!

И у него есть свое увлечение. В бытность свою в Ленинграде он состоял в ИЗОРАМ.

Злые языки говорили, что кисть и краски для него дороже общественной работы. Кисть и краски, но он отвечал, что кисть и краски тоже общественная работа. И злым языкам ничего не оставалось, как прикусить себе свои языки.

Но вот он доброволец. Один из двадцати пяти тысяч он едет туда, где живопись если и существует, то в виде икон и кулацких вывесок.

Он едет.

И товарищи, провожающие его, посмеиваются над ним.

– А у нас скоро выставка. Отложи отъезд. Будешь участвовать.

– А ты кисти с собой не бери. Будешь писать коровьим хвостом. Куда эффективнее.

– На кого ты покидаешь ИЗОРАМ?

– Ничего, – отвечал Молодцев. – Мы создадим ИЗО крестьянской молодежи. Не подкузьмим.

– Как же оно будет называться? – спрашивают его приятели. – ИЗОКРЕМ? Название говорит само за себя. Чем же вы будете писать: кремом, сметаной?

– Сметаной, – ответил товарищ Молодцев и уехал.

И вот наступил день, когда можно было начинать. Запашка и сев закончены. Вечерами остается свободное время. И среди кружков травосеяния, политического момента, животноводства, пчеловодства возникает новый кружок: ИЗО.

Парни держат в руках кисти и карандаши уверенно, как лопаты. Но лопаты есть лопаты, а карандаши есть карандаши. И Молодцев показывает, как нужно держать карандаши.

Он приносит гипсовую фигуру Венеры – остаток барского имущества – и ставит ее на стол. Парни смотрят на нее с насмешкой.

– Почему же она в голом виде? – спрашивают они.

И Молодцев отвечает. Он рассказывает о греках, о греческом искусстве, рассказывает всё, что читал и слышал. Говорит два часа, наводя сон и скуку.

Потом предлагает рисовать Венеру. Но руки кружковцев рисуют неохотно. Видно, что задание не интересует их.

Рисуют час, рисуют два. Они рисуют, как он говорил. Чтобы заполнить время и бумагу. Собственно, они не рисуют, а водят карандашом по бумаге. И Венера на бумаге имеет еще более скучный вид, чем на столе. Но некоторые ее подкрашивают. Один рисует ее с усами, другой с рогами, третий рисует ее в виде комсомолки, а некоторые просто «хулиганят». У гипсовой Венеры нет на теле волос – они рисуют ее с волосами на теле, меняют ее позу. Другие поступают еще смелее и рисуют груди на животе, вместо рук – ноги, вместо

ног руки. Но к концу занятия они уничтожают свои рисунки, сказав Молодцеву, что у них ничего не получилось. И к Молодцеву попадают только «честные» рисунки, рисунки скучные, как сам гипс. И Молодцев удивляется их правильности и пресности.

«Не может быть, чтобы крестьянские ребятишки были не способны к рисованию, — думает он, — не может быть. Но рисунки, рисунки... Что-то не то...»

Следующее занятие через пять дней.

Они собираются в том же помещении и приносят свои рисунки, нарисованные дома.

Эти рисунки воображения смелого, как выстрел. Это наблюдение глаз, привыкших видеть своими глазами. Наблюдение, помноженное на воображение. Это рисунки, нарисованные неизвестно чем на бумаге. В руках этих ребятишек карандаш приобретает свойства и качества угля, уголь свойства угля и сангины, сангина свойства и качества масляной краски. И техника, техника!.. Какое знание и чувство материала. Фактура лучше, чем у Пикассо, рисунок лучше, чем у Энгра.

Вот конь кулака Петухова, нарисованный Чашкиным еще пионером, но уже комсомольцем. Это конь, увиденный глазами лошади. Потому что для человека все лошади на один покррой. И только лошадь видит в каждой лошади не только лошадь вообще, но и данную лошадь, лошадиную индивидуальность. Это конь — конь именно кулака Петухова, в

полном смысле конь кулака, и потому Чашкин имел полное право надписать: конь кулака Петухова. Это не просто рисунок коня. Это портрет именно этого коня, как портрет Иванова, а не Петрова, Сидорова, а не Борисова. Портрет в лучшем смысле этого слова. Но без всякой внешней фотографичности. Он похож на фигуру коня, вырезанную из дерева, на пряник и одновременно на живого коня. И может быть, поэтому он выглядит живее. Но это не просто конь, конь кулака Петухова. И в повороте головы, в глазах, в толстых ногах есть что-то от самого хозяина. Этот портрет не только портрет коня, но и портрет кулака, портрет Петухова.

Вот дом кулака Петухова, нарисованный Ваней Коньковым. Дом, увиденный глазами домового. Домового нет, домового не может быть, но если бы он был, он увидел бы дом так, как увидел его Коньков.

Этот дом был домом изменений. Казалось, вся история, настоящее, прошедшее и будущее этого дома было изображено на этом рисунке.

Еще молодой, но уже старый, еще красивый, но уже некрасивый, еще богатый, но уже небогатый. Одним словом, дом кулака. Этот рисунок был не просто рисунок дома, а портрет именно этого дома, как сад Плюшкина, написанный рукою Гоголя. Но этот портрет был не только портрет дома, этот портрет был портрет самого хозяина. Подслеповатые окна или заплывшие жиром глаза хозяина? И странное дело, вместо крыши была шапка – сначала это никто не заметил, – ну

конечно шапка! Шапка самого хозяина. Дом настолько походил на хозяина, что его можно было принять за дом и за хозяина.

– Это дом, – говорили одни.

– Нет, это хозяин, – возражали другие.

– Это и дом, и хозяин, – сказал товарищ Молодцев, и он был прав.

Тысячелетний дом, выстроенный из громадных сосен, в повороте головы, то есть крыши, в том, как он стоял, он напоминал пьяного.

– Да он пьян, – крикнул кто-то.

И в самом деле, дом был портретом дома и хозяина, на данном этапе его жизни.

На пьяном этапе.

И остальные рисунки дополняли два первых. Странное дело, ребята как бы сговорились и выполнили задание, которое им не было задано. Они изобразили все, что имело отношение к кулаку Петухову, все, что ему принадлежало.

Вот коровы и быки Петухова, коровы, похожие на быков, быки, похожие на коров, и все вместе – на своего хозяина.

Они пьют воду, но в речке вместо них отражается семья кулака, пьющая чай. Художник сказал все, что хотел сказать. Вот бараны Петухова, вот свиньи Петухова, но они не похожи на своего хозяина, потому что они и есть хозяева. И в самом деле из бараньих и свиных голов просвечивает голова Петухова. И конечно, петух – Петухов, курицы – Петуховы,

амбары – Петуховы, конюшни – Петуховы и, наконец, сам хозяин, кулак Петухов, он стоит перед зеркалом, но в зеркале вместо него отражается самовар.

Самовар и кулак стоят, как два кулака или как два самовара.

– Здорово! Здорово! – мог только сказать товарищ Молодцев, и он сказал:

– Здорово!

– Здорово! Здорово! – повторил товарищ Молодцев. – Кулак, его жена и его дети, кулак и кулацкое хозяйство в период ликвидации кулака как класса – это тема, достойная вас. Ваши рисунки я сохранию. Они послужат эскизами, с которых мы будем делать роспись стен избы-читальни. Только там от вас потребуются не только смелость руки, но и серьезность. Нужно будет показать кулака не только тогда, когда он пьет чай, но когда он эксплуатирует крестьян. Нужно будет дать его портрет не в статике, а показать кулака в действии, как кулак борется с нами. Я уверен, что мы справимся с этой задачей. А пока приступим к нашему очередному занятию.

ОПЫТ – УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ. Теперь Молодцев уже знал, что самостоятельность его учеников сделает всё сама, ему же только нужно руководить самостоятельностью.

Пусть рисуют дети, что хотят и как хотят. И они рисуют, что хотят и как хотят. Сегодня они уже не водят карандашом по бумаге, а рисуют. И Молодцев уже не заикается о греческом искусстве. Венера унесена, он только ходит и смотрит

на работы учеников. И он учится. Не столько они учатся у него, сколько он учится у них. И это большое достоинство – уметь не только учить, но и учиться.

Качество большевиков!

Но вот наконец они приступают к работе. И стены и краски готовы. Остается только взять кисть и, обмакнув ее в краску, начать писать.

Избач ходит по избе и боится. Он боится за всё: за стены, их могут испортить, за газеты – их могут испачкать. И выносит газеты во двор.

«Сейчас она изба-читальня, – думает избач, – изба как изба. Но потом, когда они ее размалюют, кто знает, как она будет выглядеть потом».

Он хочет убежать. Не слышать и не видеть. Пусть все случится без него. Но он не убегает, а прибегает. Слушает и смотрит. Ему не нравятся краски.

– Много белой, – говорит он.

Сегодня ему не нравится. Ничего. Кисти не нравятся, руки не нравятся, даже он сам не нравится себе.

И он убегает, чтобы не видеть кисти, чтобы не видеть краски, чтобы не видеть себя самого.

Вот он вышел, он во дворе, он на улице, он в поле, он в лесу. Он у высокой сосны. И вдруг он остановился.

«Какой же я избач? – подумал он. – Разве избач может быть таким? Избач должен быть другим».

И он возвращается другим. Вот он вышел, вот он в поле,

он на улице, он во дворе, он в читальне. И везде – другой. Теперь ему все нравится. Краски нравятся, кисти нравятся, даже он сам нравится себе. Он смотрит на стены, и что же он видит – фрески. Они возникают под рукой, из-под кисти, еще не законченные, но уже живущие. И он удивлен, они ему нравятся. Не может быть, ведь он их не понимает, но все же они ему нравятся.

Вот стена кулака. Из-под нескольких кистей появляется кулак, вот он еще не кулак, но вот он уже кулак, вот он эксплуатирует. Вот история кулацкого дома Петуховых на стене. Его начало и его конец. Начало борется с концом, и конец в конце концов побеждает. Здесь настоящее сочетается с будущим, будущее с прошедшим. Кулак еще не ликвидирован. Он ликвидирован. Он ликвидируется. И ребята изображают на стене начало конца и конец начала.

И вот кулака нет. На его месте пустое место. Вместо кулака – ничего.

Вся работа движется соревнованием. Соревнуются кисти, умение и навык, но, главное, соревнуется воображение. Воображение против воображения. Один на один. И воображение многих на воображение многих. И конечно, здесь, как везде, обнаруживаются перегибы, плоды увлечения и натиска, ошибки и издержки всякой работы. И Чашкин рисует, как рассказывает ему воображение, человека с тремя глазами. Это враг. Следовательно, он урод. А что может быть уродливее человека с тремя глазами? Но воображение Конь-

кова перегоняет воображение Чашкина, и он рисует кулаков, едущих на базар, заменив головы кулаков головами лошадей, а головы лошадей головами кулаков. Сдвиг, излюбленный прием всех левых течений искусства, кубизма и футуризма, экспрессионизма и веризма, дадаизма и сюрреализма, оказывается вдруг излюбленным приемом деревенских ребятишек, не видевших, за исключением икон и лубков, никаких картин, ни левых, ни правых.

Но Молодцев недоволен или притворяется, по крайней мере, он говорит, что недоволен.

– Я недоволен, – говорит он. – Художник вовсе не обязан изображать предмет так, как он его видит в данный момент. Он вправе его изменить, упростить или усложнить в зависимости от той цели, которую он преследует.

И вдруг он замечает, что он сказал не в упрек, а в поддержку. Он сказал не то, что хотел сказать, а то, что думал.

И он говорит тихим голосом, голосом не упрека, а похвалы:

– Не так смело, ребята. А то скажут, что я вас научил футуризму. Я, кажется, говорил вам, что такое футуризм. Не так смело. Это уже чересчур. Кулак с тремя глазами. Тут уже обидится не только кулак, но и колхозник. Где же вы видели человека с тремя глазами?

Они идут на поля, огороды, луга – косить, полоть, пахать. Они косят, полют, пашут, но им кажется, что они рисуют. Это влияет на работу, но только в лучшую сторону. Сегодня

они пашут лучше, чем пахали вчера, косят лучше, чем косили вчера, полют лучше, чем пололи вчера. А главное, красивее. Эстетическое чувство проникает везде, а красота где-то граничит с аккуратностью, переходит в аккуратность. Они делают свое дело аккуратно. А раз аккуратно, значит, хорошо.

Поля, вспаханные ими, напоминают чертеж или рисунок поля. А изображение предмета всегда бывает идеальнее самого предмета, аккуратнее его.

На бумаге человек бывает аккуратнее, чем в поле, в канцелярии аккуратнее, чем в огороде. Перенести аккуратность канцелярий (аккуратность – это еще не значит педантизм, а бюрократизм, прикрываясь аккуратностью, на деле всегда противопоставляет себя аккуратности) на поля – это ли не задача сегодня? Но не только аккуратность, но и трудовой труд фабрики (да, масло бывает масленое), коллективный труд – то, о чем мы говорим. Этим отличается колхоз от индивидуального хозяйства, колхозник от единоличника.

Но важнее всего вдохновение! Вдохновения, спутника всякого искусства, – вот чего не хватало работникам полей и огородов. И они приносят вдохновение сюда, на поля и на огороды. И вот вдохновение, спутник таланта, омывает поля и людей, как дождь. Работа блестит, поет, цветет.

Они делают талантливо. Талантливо пашут, талантливо косят, талантливо полют. И вдохновение людей передается лошадям, они идут, как танцуют, кажется, что они не рабо-

тают, а летают, так быстро они работают.

Вдохновение передается всем. Теперь все работают талантливо. Бездарных нет, так же как нет ленивых. Все желают хорошо работать. Все умеют хорошо работать. А раз желают и умеют – значит хорошо работают.

Они закончили и при свете заходящего солнца любуются на свою работу. Они смотрят на нее, как я перечитываю эту главу. И возвращаются в читальню. Но прежде нужно выкупаться! Вода снимает усталость вместе с грязью. Они плавают и ныряют, ни на минуту не забывая о той работе, которая им предстоит сегодня и завтра, столько работы, сколько стен. Они набираются фантазии в воде и, ныряя, как бы ищут ее на дне реки.

И река приходит к ним на помощь. Она наполняет их тело бодростью и энергией, голову фантазией, причудливой, как дно реки. Они одеваются и идут – кажется, что сама река поднимается и идет с ними, – расписывать стены. Они действуют, как действовали только что на полях, лугах и огородах. Здесь мы видим взаимное влияние искусства на полевую работу и полевой работы на искусство. Они работают с таким же упорством и с такой же выдержкой, с какой они работали на полях. И результаты их работы начинают уже сказываться. Стены преображаются. Сама живопись, живопись в лучшем смысле этого слова, возникает постепенно, как возникла сама жизнь. Четыре стены, еще недавно похожие друг на друга, как четыре стены, теперь отличаются, как четыре

картины, написанные разными мастерами на разные темы.

Вот стена пафоса, стена нового, пафос коллективного труда и быта! Вот стена, высмеивающая и разоблачающая религию, вот стена, высмеивающая кулака, и вот стена, агитирующая за новые формы жизни, стена, изобретающая и показывающая, как нужно и как не нужно жить. Они расписывают стены – борьба с религией, – и кажется, что великие мастера Эль Греко, Питер Брейгель и сам Иеронимус Босх в сутане средневекового монаха приходят к ним на помощь. Дают им свои кисти, разводят краски, открывают секреты своего мастерства, делятся своей фантазией, показывают, направляют их кисти и украдкой расписывают вместо них. Но между ними и ребятами существует большая разница. Они мистики, а ребята враги всякой мистики, они высмеивают мистику и кулаков. Но чтобы лучше высмеять врага, нужно его передразнить. Это каждый знает еще с детства. И они передразнивают иконы и Евангелие, они расписывают стены, как я пишу свой роман, высмеивают кулаков и попов, передразнивают их, показывают им свой язык.

Поп придет сюда и узнает себя, но поп не придет сюда. Кулаки придут сюда и узнают себя, но они сюда не придут. Сюда придут колхозники, единоличники – бедняки и середняки и узнают тех, кого им нужно узнать.

Ребята закончили работу, и вот они смотрят на нее и хохочут. Над этими святыми, над этим богом, над этими кулаками. Сегодня смеются они, завтра будут смеяться все.

Но смеются не все, а только кулаки. Толпа кулацких парней ночью врывается в клуб.

Они ломают двери и окна, рубят стены топором, строгают рубанком и то, что не успели соскоблить, замазывают смолой.

Они пишут смолой слово на стене во всю стену. Слово из трех букв.

И вот они смотрят на свою работу и хохочут.

Глава десятая

– Это не слух, – говорят одни. – Это правда.

– Нет, это не правда, – возражают другие. – Это слух.

– А что это за слух? – спрашивают третьи. – Что это за правда?

– Это не правда, – возражают одни. – Это слух.

– Нет, это не слух, – возражают другие. – Это правда.

– Это факт, – подтверждают четвертые. – Мы знаем.

– А что это за факт? – спрашивают пятые. – Что вы знаете?

– Нет, не мы, – говорят четвертые, – мы не знаем. А знают они. Знают другие.

– Нет, не другие, – говорят другие, – другие не знают. А знают третьи. Вот третьи – те знают.

– А где же третьи? – говорят третьи. – Мы не знаем.

– Мы не третьи, – говорят третьи. – Мы не знаем.

– А где же кулак? – спрашивают четвертые. – Кулак знает.

– Я не кулак, – говорит подкулачник. – А я знаю.

И достает слух из-под полы. Все приближаются и осматривают слух. Некоторые ощупывают, другие, недоверчивые, пробуют слух на язык.

– Но это не может быть, – возражают одни, – у нас земля!

– Это не может быть, – возражают другие, – у нас машины!

– А плевать им на землю, – возражает подкулачник. – Плевать на машины. Земля – не принцип, – говорит подкулачник.

ник. – Плевать на машины. Земля не принцип, – говорит подкулачник. – Принцип не машины. Они организуют свой. Им дороже принцип. Организуют свой. Возможно, уже организовали.

Приближается Молодцев.

– А вы не слышали, – обращаются к нему одни. – Вы не слышали?

– Открылся новый колхоз, – говорят другие. – Поп во главе колхоза.

– И все классы, – прерывают третьи. – Кулаки, бедняки, середняки.

– Все классы, – подтверждают четвертые. – Даже батраки. Все классы.

– Вот так колхоз! – говорит товарищ Молодцев. – Что это за колхоз? – и смеется.

– Вы смеетесь, – говорят одни. – А нужно плакать. Поп во главе колхоза, а вы смеетесь.

– Это факт, – говорят другие. – Вы не смейтесь.

– Где же факт? – говорит товарищ Молодцев. – Покажите мне этот кулацкий колхоз. Его поля? Его огороды?

– И в самом деле, – соглашаются все. – Его не видать.

– Что такое конспиративный? – говорит подкулачник. – Я не знаю. Он конспиративный, – говорит подкулачник. – Я знаю.

– Колхоз в подполье, – смеется Молодцев. – Это остроумно. Что же они, и пшеницу сеют в подполье? – спрашивает

он.

– Сеют, – отвечают подкулачники.

Но организаторы «конспиративного колхоза» еще ничего не знают. Они находятся еще в первоначальной стадии, стадии размышления.

Вот кулак Лука. Он сидит у окна, положив голову на руки, и мечтает. И вот его мечта – мечта деревенского мистика, и он видит колхоз таким, каким бы он хотел его видеть.

Пятнадцать членов его колхоза встают рано утром и замечают, что они встали с левой ноги.

– Мы встали с левой ноги, – говорят они.

– С левой? – спрашивает заведующий. – А у вас есть какие-нибудь доказательства?

– Есть, – отвечают пятнадцать человек, членов его колхоза. – Видите, пятнадцать ног стоят на полу, а пятнадцать лежит на кровати.

– Раз, два, четыре, восемь, одиннадцать, пятнадцать, – считает заведующий. – Пусть пятнадцать пойдут на работу, а пятнадцать останутся на кровати.

– Нас всего пятнадцать, – говорят пятнадцать человек.

– Как же пятнадцать, – говорит заведующий, – я насчитал тридцать.

– Это ног тридцать, – сказали пятнадцать членов, – а нас пятнадцать человек. У каждого человека по две ноги.

– По две ноги? – спросил заведующий и посмотрел на свои ноги. – Да, по две ноги. Я упустил из виду. Хорошо, пусть

пятнадцать человек и тридцать ног останутся дома. Тем, кто встал с левой ноги, нельзя ходить на работу. Плохая примета.

Приходит на другой день заведующий со звонком, и колхозники, услыша звонок, просыпаются.

– Сегодня какой день? – спрашивают они.

– Вторник, – отвечает заведующий.

– Как вторник, – говорят ему колхозники, – когда сегодня понедельник.

– Нет, вторник, – говорит заведующий.

– Нет, понедельник.

– Да я же хорошо знаю, что вторник, – говорит заведующий.

– А мы хорошо знаем, что понедельник.

– Хорошо, – сказал заведующий, – принесите календарь, и вы увидите, что вторник.

Они приносят календарь и показывают на понедельник.

– Вот видите, видите, – говорят они, – мы же вам говорили.

– Да, теперь я вижу, – говорит заведующий. – Понедельник. Плохая примета. Оставайтесь дома. Можно на работу не ходить. – И они остаются дома.

Приходит на третий день заведующий со звонком, и колхозники, услыша звонок, просыпаются.

– Сегодня какое число? – спрашивают они.

– Двенадцатое, – отвечает заведующий.

– Как же двенадцатое, – говорят ему колхозники, – когда

сегодня тринадцатое.

– Нет, двенадцатое, – говорит заведующий.

– Нет, тринадцатое.

– Да я же хорошо знаю, что двенадцатое, – говорит заведующий.

– Мы хорошо знаем, что тринадцатое.

– Хорошо, – сказал заведующий, – принесите календарь, и вы увидите, что двенадцатое.

Колхозники приносят календарь и, незаметно оторвав одну страницу, показывают на тринадцатое число.

– Вот видите, видите, – говорят они, – мы же вам говорили.

– Вижу, – соглашается заведующий, – но вчера был понедельник, следовательно, сегодня вторник, а по-вашему выходит – среда.

– Нет, вчера был вторник, а не понедельник, – сказали колхозники, – а сегодня среда.

– Да вы сами говорили, что понедельник, – сказал заведующий, – значит, вчера я был прав.

– А как же на работу? – спрашивают колхозники.

– На работу не ходить, – говорит заведующий. – Как же можно. Сегодня тринадцатое число.

Но вот в городах начинается жилищное строительство и в деревнях жилищное строительство.

– Нам тоже нужно начать жилищное строительство, – говорит заведующий и берет в руки топор.

– А что такое жилищное? – спрашивают некоторые.

– Что такое строительство? Жилищное, – говорит заведующий, – это от слова «жилище», имени существительного, а строительство, – говорит заведующий, – это от слова «строить», глагола неопределенного наклонения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.